Кузьма Сергеевич

ПЕТРОВ-ВОДКИН

Хлыновск

Пространство Эвклида

Самаркандия

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Хлыновск» (1930) — первая часть автобиографической дилогии «Моя повесть» (вторая часть — «Пространство Эвклида», 1932), написанной Кузьмой Сергеевичем Петровым-Водкиным (1878–1939), прославленным российским живописцем, графиком, теоретиком искусства, педагогом и литератором, заслуженным деятелем искусств РСФСР, автором знаменитых картин «Купание красного коня» и «Смерть комиссара».

Литературное наследие Петрова-Водкина удивительно интересно и разнообразно. В него входят рассказы, повести, пьесы, очерки, теоретические статьи. Но мемуарно-художественная «Моя повесть» занимает особое место. Наряду с другими его автобиографическими произведениями «Хлыновск» отличает свободная манера изложения, обилие остро подмеченных взглядом художника деталей и подробностей, придающие особую прелесть этой пленительной и вовлекающей в поток событий живой и жизненной прозе.

- Кузьма Сергеевич Петров-Водкин
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - * * *
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
  - Глава двадцатая
- notes
  - 1

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин
Хлыновск

Книгу эту посвящаю дочери моей Лёнушке

Глава первая
ПО ЛИНИИ МАТЕРИ

Мои родные по линии матери были крепостные Тульской губернии. Дядья моей бабушки Федосьи Антоньевны работали в оброк на ткацкой фабрике в Москве.

Бабушка рассказывала мне из своей детской жизни: о нашествии французов, о Москве, где она побывала и сохранила образ Белокаменной до конца своих дней.

В Москву она ходила с матерью и теткой на повиданье с родными.

— Целый день, — говорила бабушка, — шли мы через Москву… Что тебе и пожара великого не было… Церквей, домов — глазом не обнять… А Иван Великий, батюшка, надо всей Белокаменной поднялся. Народу по всем переулкам тьма-тьмущая…

Тетенька Василиса смелая, бойкая была, к народу обращается, чтоб указанье нам сделали. Которые из народа на смех нас, деревенщину, подымают, а один степенный человек толком разъяснил дорогу нашу: вы-де, говорит, бабыньки, по кружной линии по Москве ходили, а вам сквозь нее надо дорогу взять, иначе-де и в неделю до места вашего не доберетесь… И смех и грех.

Пришли-таки к тетке Степаниде, а она уже не знает, чем и принять нас. Лапотишки мы у входа сняли, чтоб половиков не содомить… Посадила она нас за стол, а на столе чего только нет, а кушанья все незнакомые, непривычные: возьмешь в рот, а от их вкуса страх берет, язык жевать не поворачивается… А не есть — стыдно.

Смотрю украдкой я, а тетенька Василиса с большим остережением куски за сарафан сует: отвернется хозяйка, а она — шмыг за пазуху — и нет куска…

Батюшки-светы — смотрю, и мамынька за ней ухитряется… Стыд головыньке. Прямо не знаю, как и ужинать кончили…

Да. Хорошо они тогда по оброку ходили, — заканчивала бабушка, и мелкие морщины ее лица веселились от воспоминания.

В длинные осенние вечера, крутя веретено, задремывая с минуты на минуту, бабушка передавала мне историю ее дней и события, уже ставшие эпосом:

— И вот повалил Бонапарт на Москву — и конца-краю ему нет. Скрып от войска идет… Мы всей деревней в лесах

укрывались. Ни тебе огня развести, ни голосом покричать. Натерпелись горя-горемычного.

Ведь, он, нехристь, с иноплеменниками своими царя Александру в полон звал. В святом Кремле нечисть завел. Нутро, можно сказать, русское опоганил… Хвастался — всю-де страну покорю, вере басурманской предам всех… А Бог и не потерпел удали его, да и послал на него Кутузова-батюшку с ополчениями бессметными…

Ну, а когда отступление его было — еще не слаще сделалось. Мужики воюют, а нас при старухах жалость берет. Морозы в теи годы лютые были. Забежит такой нехристь, а на нем рогожа поверх одеяния. Зубами хрущит, есть просит… То по голове младенца начнет гладить, хорошо, говорит, дома, — это, значит, он дите свое вспоминает.

Дадут старухи ломоть хлеба ему: уходи, мол, не ровен час мужики застанут.

Бирюков тогда рыскало видимо-невидимо, — так рядом с войском и бежали, живых людей ели. По деревне, бывало, как огни зажгутся — глазищи бирючьи светятся.

Озверели в ту пору мужики наши в погоне за неприятелем — за все выместить хотелось, ну да, конечно, и от баловства разгасились на жизнь человеческую, а главное, добро свое, награбленное Бонапартом, не упустить бы. Дядя Митрий, царство небесное, чуть голову не сложил ради баловства этого.

Поехали они на загонки и набросились на врагов, а те, видать, не сробели — оборону устроили. Один из них хватил дядю Митрия вдоль головушки — тот и свалился наземь, как сноп… Покуда что, вернулись сватья к Митрию, глядят, а голова пополам разрублена… Ну, тут ему лошадиным пометом голову умазали, да кушаком натуго перевязали… Так дяденька Митрий неделю в себя не приходил, а потом справился — отоспался, значит.

Даром это не прошло; прежнего мозга не стало — запамятывать стал. А коли ненастью быть — и заноет, заноет головушка по срощенному месту…

Веретено мягко скоблит деревянную чашку. Снаружи, из-под обрыва доносятся удары о плетень волжской волны. Старуха зевает мягким, беззубым ртом:

— Большая ноне прибыль… Вал-от как бьет… Баню не снес бы… — Еще зевает. Вдруг спохватывается: — Спать ложись, постреленок, — опять училищу проспишь. И огонь тухнет, — выгорел весь…

Я укутываюсь в шубенку бабушки на полатях, улыбаюсь от моего внутреннего геройства, идущего сна и от бабушкиного

уюта… Огонь погас. Ко мне, засыпающему, доносится с пола прерывистый шепот:

— Всепетая… Мати… Родшая — и мягкие удары поклонов…

Это меня убаюкивает.

В поместье Тульской губернии человек, владевший моими предками, вероятно, не предполагал, садясь за карточный стол, что его игра отразится на моей судьбе, — сыграл неудачно. В результате проигрыша полдеревни мужиков и баб с детьми оказались перешедшими во владение счастливого партнера по картам, поместье которого было на Волге.

Бабушка, ее родичи и однодеревенцы запрягли сивок-бурок, уложили на возы скарб и детей и тронулись в переселение.

Красоты волжских берегов, конечно, не могли особенно утешить крестьян в расставании с насиженными испокон века местами, да и слышали ли об этих красотах выехавшие в пересел? Но слух, что «земля черная на Волге, что в нее ни брось — всходит», этот слух с первых же этапов пути стал доноситься до едущих.

Мужики, как всегда в несчастье, утешались будущим, предвкушая жирную землю саратовскую.

Кроме вышесказанного, бабушка мало и кратко говорила об этом переезде. Помню только:

— Всего натерпелись — и по миру ходили… Ребятишек перемерло — страсть. Всю дороженьку крестами уметили… Двенадцать недель путь делали. На самое Успенье Волгу увидели…

Как пчелы, пересаженные в новый улей, заработали на новых местах мои родичи, оплодотворяя землю и принимая в себя ее соки.

Когда вышла воля и крестьяне завозились, — дед мой Пантелей Трофимыч, занимавшийся еще с мальчишества по плотничьему делу, перебрался с бабушкой в городок. Сколотил он своими руками домишко над берегом Волги, к нему пристроил келейку, соединявшуюся крышей с передней избой.

В этой келейке и рожусь я в свое время. Келейка, собственно говоря, предназначалась для Февронии Трофимовны, сестры деда, овдовевшей в это время, но после смерти Пантелея Трофимыча бабушка Феврония перешла жить к золовке в переднюю избу.

Дед мой умер, когда матери было семь лет. Она о нем запомнила только по гостинцам и ласкам. Другие сообщали мне о деде, что тот был маленького роста, лысоватый, молчаливый, застенчивый, но очень спорый на работу мужик, добрый и всем доверявший. Весенней порой, когда свертывает и перекашивает на Волге наезженные дороги, от берегов и посредине чернеют

промоины-полыньи, возвращался дед из заволжских деревень с ободьями колес, втулками и мелким щепьем. Один наедине, попутчиков для переправы в такое время не много найдется. Дома семья, может, нехватка в чем, на дворе светлый праздник; ехать надо было. Спасая лошадь, намерз и вымок дедушка, но все равно домой пришел ночью, трясясь от озноба, — без воза и лошади: воз легкостью товара спас хозяина, но потопил лошадь, скрывшуюся с головой в промоине. Дед бросился спасать за дугу коня и провалился сам. Лед на Волге трещал, ухал; надо было бросить все.

Когда Пантелей Трофимыч добрался, через льдину на льдину, до берега и оглянулся назад, — воз уже крутило и уносило движением тронувшегося льда. В эту ночь Волга пошла, и в эту же ночь слег дедушка и больше не встал. В воскресенье на Фоминой он умер.

Придавила эта смерть Федосью Антоньевну с малышами на руках, но вначале помогло вот что (что характеризует для нас и покойного деда). Как только установились дороги весенние, закончился посев, стали наведывать сирот Пантелеевых мужики, то заволжские, то из уезда. Придет такой, пособолезнует вдове, ребятишкам сунет по баранке, а потом полезет за пазуху и вынет из кисета, какую ему полагается, сумму ассигнаций и скажет:

— Вот, вдовушка, тут должок мой покойному. Царство ему небесное: больно вовремя помог он мне колосьями да станом…

И Февронья Трофимовна помогала дому рукодельями и своими практическими советами ко всем случаям жизни.

О бабушке Февронии необходимо рассказать то, что я запомнил о ней и что слышал от других.

По внешности она была совершенно отлична от брата: высокая, никогда не сутулившаяся, с прядями, змеями серебряных волос, с острым, пронизывающим взглядом темных глаз. Покойный муж ее был крепостной механик по водяным мельницам.

Моя мать, боявшаяся тетки, уважавшая ее и имевшая в ней единственный источник знаний, рассказывала:

— Заболели у соседей скарлатиной. Я сбегала вечерком навестить больную и вернулась. Стучу из сеней. Тетя спрашивает: — Где была? Чем больна? — Как узнала о скарлатине — хлопнула крючком и не впустила: — В сенях переночуешь, — говорит. Утром, чуть свет, подала мне в окно мыло и полотенце: — Беги на Волгу и вымойся сверху донизу. — И, когда я вернулась, тщательно вымывшись от ногтей ног до волос, тетя впустила и разъяснила смысл заразных болезней…

Февронья Трофимовна объясняла будущий конец земли

обезводиванием. Знала расчет пасхальных седьмиц. Знала месячные восходы и заходы. Когда что сажать и сеять…

Какую надо было иметь память, будучи безграмотной, чтоб уложить в себя в должном порядке такое разнообразие сведений. Ко всему этому она была рукодельница по кружевам и вышивкам.

Дикими казались среди окружающей среды эти знания и лаконический, четкий говор у простой женщины.

— Не иначе, как ведунья, — чем же ей и быть? — шептали соседи.

Но, что бы ни случилось, — бежали к ней. Февронья Трофимовна давала первую помощь больным, спасала трудно рожающих. Не позволила схоронить одну девушку, в действительности оказавшуюся в летаргии. Но не из любви к людям, казалось, она это делает. «Люди хуже волков, — говорила старуха, — весь Страшный суд для того и выдуман, чтоб усмирить их. Ведь кому и какой интерес на том свете с грешной дрянью возиться?!»

Одинокая, замкнутая бабушка Февронья не спеша, размеренно, доживала свои дни, к жизни и к смерти казавшаяся равнодушной. Она очень редко и мало говорила о своей прошлой жизни, но и в этом малом проскальзывало, сколь хорошо и близко она знала быт и привычки помещиков, вот отсюда, очевидно, и возникла у соседей догадка о ее прежней жизни.

— С барином она жила, да… Муж для видимости одной был, — говорили около. — Откуда же у нее деньги — ну-ка?

— Озолотил барин, да и со двора долой! — говорили другие.

Если в этом была хоть доля правды — представляю я себе обиду вечную к такому любовнику в сердце Февронии Трофимовны.

Золото, о котором шептались в околотке, заключалось в восьмистах рублях, хранившихся у нее на дне кованого сундука.

Может быть, для окончательного доказательства человеческой дрянности и хранила старуха это проклятое золото, — немало через него нехорошего увидел я потом в моих близких так и не дощупавшихся до золота, провалившегося неизвестно куда.

Из девяти детей дедушки Пантелея и бабушки Федосьи до меня дожили двое — моя мать и брат ее дядя Ваня, старше ее на несколько лет.

Захватив отца в учебном возрасте, дядя Ваня был «наставлен грамоте».

— Он ведь учен да учен, — при тятеньке дело было, а я самоучкой кое-как наскребла, — говорила моя мать на мои шутки о невероятном количестве «ятей», которые она употребляла не в

тех словах, где требовалось, — л я шутя же указывал на упрощенный подход к этому вопросу у дяди. «Ученый» дядя Ваня принял «яти» как неизбежное во всех словах на «е», и они у него, с навесами, как могильные кресты, создавали новую, совершенно фантастическую и неузнаваемую письменность. Дядя, говоривший мало, писал длинно и витиевато: в каждом слове и букве он старался «изобразить» значение их, их магию, заложенную не в смысле, а в самом чертеже слов и букв. Из рода в род безграмотные — и вот ему первому открывается фокус записи, навсегда фиксирующей вовне имя предмета.

Уже далеко позже, перед смертью незадолго, больной, дядя Ваня сидел со мной на волжской пристани в Самаре: он провожал меня, и это было наше последнее свидание. Разговор, как обычно с дядей, происходил о «большой жизни».

— Боюсь, не выйдет, пожалуй, у меня для понятия, ну, уж вразумей. Вот что для меня непонятным, боязным кажется… Слово всякое, особенно великое слово, как я его произнесу, так за ним ничего больше и не вижу… Имя-то, вразумей ты, как будто уничтожает существо, к которому приложено бывает… Как заслонкой закрывает оно за собой живую плоть. Либо голова моя слабая, а либо — человеку запрет в слове дан… Да-с… А либо не через него большая жизнь в человеках последует… — сюда привела моего дядю Ваню зачарованность словом изображенным.

В юности Иван Пантелеич был полностью захвачен чтением «отеческих» старинных книг, благо сектантское окружение всех ересей и сплетений, в которое была вкраплена «мирская» семья дяди, доставляло богатый материал.

Я еще застал эти тайные кожаные фолианты, содержащие «кладезь разумения человеком».

Маленького роста, с двойной клинышками бородкой, застенчивый до болезненности, даже со своими, дядя Ваня вдруг становился смелым. Вспыхивала его любимая мысль.

— Хорошо бы уединиться, мамынька, — говорил он, — отойти бы от мира.

Сектантство, в его выродившейся аввакумовщине среди политиканствующих и ханжей, которыми сжаты были домики под одной крышей, гласило: что приятно, — то от дьявола. Проблески радости — неестественны… Смех — щекотка диавола…

Насколько это было общим для всех мракоберов городка, — вспоминается мне законоучитель по школе, соборный протоиерей. Нам, выпускникам, он делал экскурс в область искусства, в частности в музыку:

— А вот, заиграет она, — а беси под ногами и заворошатся… А уж если песни петь начнете, — так из горл ваших хвосты

бесовские и полезут, и полезут…

Хорошо было для меня такое напутствие. Ведь я в ту пору полусознательно, но был уже обращен моими надеждами к далеко маячившему искусству. Думаю, что дядя Ваня вот от этого «бесьего» мира хотел уединиться.

Это с одной стороны только представленный дядя Ваня, — а вот и другой дядя Ваня, который чинит электрические звонки. Первый пробный телефон в Хлыновске устанавливается при его участии. Дядя молчит, уйдет сам в себя, а сделает, что бы ему ни поручили. Он умел и любил работать над вещами, побеждать и обуздывать их! Дядя Ваня был для меня примером всеуменья, и когда я восхищался, он отвечал:

— Раз человеком вещь сделана — в ней трудного для другого человека не должно быть.

Однажды, когда дядя был занят какой-то новой и сложной работой, я стоял рядом, открыв рот на бегавшие в его руках инструменты… Дядя остановился для отдыха или для раздумья и сказал:

— Знаешь, как я сейчас подумал… Ведь можно человеку и дождик выдумать… Вразумей, — вот бы! — и лицо дяди Вани заиграло хитрой улыбкой.

Теперь напомню в заключение этой главы: линия от матери привела нас к двум сцепившимся под одной крышей домикам над Волгой и к четверым лицам: бабушке Феодосье, другой бабушке, Февронье, к дяде Ване и к Анене, моей будущей матери.

Глава вторая
ПО ЛИНИИ ОТЦА

Родные моего отца были из старых обитателей города Хлыновска, осевших здесь во времена разбойные. Во всяком случае, от бабушки Арины Игнатьевны я не слышал воспоминаний ни о деревне, ни о каком бы то ни было переселении их сюда. Устные же легенды и место, где они жили, соединяющее конец осевших на выселках крестьян с концами городского мещанства, и их основная профессия — все это довольно точно устанавливает происхождение отцовской линии.

Чтобы связать окружающее в одно целое представление, мне кажется своевременным рассказать о самом городе. Теперь это захудалый, заброшенный городишко. Начало Хлыновску было положено рыбаками-монахами Троице-Сергиевой лавры на Сосновом острове, начинающемся верстах в десяти выше города и делящем Волгу на два рукава собственно Волгу и Воложку. Эта двенадцативерстная полоса заливных лугов была и есть одно из богатств Хлыновска.

Монахи имели возможность обосноваться крепко для охраны своего осетрового и стерляжьего угодия, и под защиту их пушек и пищалей сюда стали стекаться остатки разгромленных стрельцов, гонимые за веру и скрывавшиеся от петровских строительских и военных наборов, и против Соснового острова на горном берегу начал оседать этот разнобойный, разнотипный люд — волгари-понизовцы, и под тем же названием Сосновки начался будущий Хлыновск.

Враги, желавшие причинить вред поселенцам, встречали передовую защиту в виде тынового стана монахов-рыбаков, а поселенцы давали человеческий материал для рыбного промысла.

Защита в то время требовалась не только от ушкуйников: ушкуйник — это свой брат; погуливали с ними сосновцы, зарабатывали на зиму и про черный день. Чернецов иной раз пощупает ушкуйник, да и то врасплох ежели нападет… Опасность, и страшная опасность поселщикам была от кишащих узкоглазых монголов, населявших заволжские степи. Эти, как тараканы, появлялись на противоположном берегу, быстро налаживали бурдюковые плоты, как черные дьяволы, врывались в поселок, обирали дочиста, жгли избы, резали защитников и уводили женщин. Северная окраина города называется Маяк. Здесь была башня со всегдашним сторожем, который и следил за Заволжьем. При замеченной опасности на башне зажигался

костер и бился набат. Работавшие в полях мужики бросали работу и верхами мчались к родным избушкам и вставали на защиту животов своих.

Когда наладилась жизнь, похожая на городскую, в окрестностях появились дарственные поместья, — поселок сбросил с себя Сосновку и назвался Хлыновск.

Хлыновск расположен на скате плоскогорья, спускающегося к Волге, и окружен амфитеатром меловых и песчаных гор, густо заросших строевой и мачтовой сосной со сверкающими среди леса просветами меловых оголений.

На севере вдвинулся в Волгу Федоровский бугор, от него по окружности к югу: Таши — оголенная меловая глыба, изъеденная труднейшей по подъему дорогой Сызранского тракта. Дальше — Богданиха, с дорогой через нее по уезду и на Кузнецк; еще южнее Четырнадцать Братцев — гор и за ними Черемшаны, в укромных улесьях которых засели невидимые Рогожские староверческие скиты, е бьющими огромной силы родниками радиоактивной воды.

За этой сказочной панорамой начиналось гладкое плоскогорье — Ровня.

В меловых залежах гор — кораллы, звезды и трубчатые морские образования. Под склонами гор били чередующиеся друг за другом ключи: Виниовский, Камышинский, Гремучий, Красулинский, и по городу умной заботой стариков по бесчисленным бассейнам зажурчала и заплескалась прозрачная, холодная, ледяная зимой и летом вода. Вокруг города на покатостях и по долинам раскинулись яблоневые сады с их знаменитыми «анисом», «черным деревом» и «скрутом».

— Если бы это у нас. О, если бы это у нас — что бы мы с этим раем сделали! — говорили мне друзья-иностранцы, посетившие со мной этот городок и его окрестности. Настоящие же обитатели этого рая даже иллюзий на счет своей райской жизни не имели. — Эх, не жизнь, а каторга… Кабы дорогу чугунную провели, — вот-то пошло бы золото, — говорили обитатели.

Окраины городка, отмеченные возвышенностями, шли по полуокружию в таком порядке: от Маяка шли Попова гора, Горка с татарской слободкой, Репьевка, Бодровка, Малафеевка, Вольновка, Камышинка и замыкали собой центр городка с собором, базаром и учреждениями. С береговой стороны на ровном отмывном обрыве, укрепленном плетнем и камнями, как крепостные стены, стояли, вытянувшись в ряд, лучшие постройки Хлыновска — его хлебные амбары.

По занятиям жители осели так: на Маяке — рыбаки; на Горке — ремесленный люд и татарская беднота с коновалами,

тряпичниками и с бесчисленной детворой; внизу в извилинах Горки уместились домики с красными фонарями и с цветными занавесками на окнах. На Бодровке кузнецы и мордва, занимающаяся отхожим промыслом и прасольством; на Малафеевке осели крестьяне-земледельцы; на Вольновке жили родные моего отца, о занятиях которых будет сказано ниже; на Камышинке — хлебопеки, булочники и крендельщики.

В центре торговали, управляли, — здесь попадались и каменные дома не больше двух этажей. У собора расположились дома чиновников и помещиков; базарную площадь обступали дома мелкого и крупного купечества. Главной улицей была, как полагается, Московская, она же Дольная, почти одна с грехом пополам вымощенная до выезда из города. За ней, ближе к Волге, шла Купеческая, срывавшаяся в Камышинское болото и выныривавшая за хибарками и оврагами, чтоб зеленой по весне и непроходимой по осени добежать до келейки и на следующем квартале уже окончательно ухнуть в огромную, вековую промоину, называемую Врагом. Третьей от Волги была Дворянская; четвертая, уже плутавшая направлением, — Телеграфная, а Проломная и Репьевская уже были пустырями, прогонами и тупиками.

Поперечных было больше, их названия столь общи для всех городов того времени, что не стоит перечислять их, а в нужном месте они и сами назовутся.

Вольновка — одна из самых старых окраин Хлыновска. В давнее время это место с разбросанными по лесу избами-зимовками было отделено от Маяка диким бором, тянущимся от гор и до Волги.

Этот бор с просекой в одну лошадь, для проезда, приводил к путаному разнолесью по Камышинской Топи, проходимой лишь зимой, да в обход. Вольновка имела открытый выход на Волгу с берегом, имеющим всегдашний причал, независимо от спада и подъема воды.

Какой бы то ни было, но помимо Волги летний тракт Саратов — Самара существовал, продираясь лесами и нагорьями берега, проходили им товарные обозы… В горах — потаенные ущелья — сам черт не сыщет кладов… Чем не место?

И гуляющая Струговщина избрала Волъновку одним из многих этапов Поволжья.

В сорока верстах от Вольновки находился Лысый Враг, один из центров сторожевых разбойничьих пунктов. Там совершались ватажные налеты, здесь — отдых, любовь, пьянство для молодых и оседка для тех, у которых «плечи веслами умотались, честным трудом захотели помаяться…».

Оседал свой, надежный народ. В то время и появилась на Вольновке «девка Чернавка». Привез ее разбойник, сруб поставил на трех окнах, наказал любить и жаловать, вернуться скоро обещался. Чернавка вскоре понесла девочку, назвала ее Ефросиньей, а разбойник так больше и не явился: дело разбойное, гиблое…

Чернавка за ум взялась, начала дочь выращивать, и ни себя, ни других не щадила для этого: водка пошла с Вольновки такая, что после нее царской и в рот было не взять.

Вырастила Чернавка дочку, замуж отдала — и вдруг как сгинула. Все бросила и исчезла; то ли тебе в монастырь-скит ушла, то ли в низовья к морю Хвалынскому убежала…

Ефросинья и стала матерью моего прадеда Петра, артельного бурлака нашего плеса, его сын дед Федор эту же профессию сделал оседлой для своих нисходящих: он был ссыпщик хлеба или грузчик. Трезвый, рассудительный Федор Петрович, выделившись из семьи, сумел оставить вдове с сиротами двуполовинчатую избу, в которой родится и вырастет мой отец.

Занятие грузчика требует большого расчета в управлении не мускулами только, но и всем организмом. Неопытный берет на силу, но сила играет роль только в «мертвый момент» действия на человека груза, основная же задача заключается в построении из ног, спины и шеи таких осевых взаимоотношений, которые бы давали телу не статический упор, как колонна, например, — а спирально вращательное движение, как бы высвобождающее от груза организм — отсюда и условие: чтоб ни один сустав не хрустнул к моменту принятия тяжести. Если вам удалось наблюдать основательно за работающим, от вас тогда не скрылось следующее: согнутый грузчик, опершись не твердо на ноги, принимает на себя ношу, слегка пошатываясь, к моменту выпрямления это движение увеличивается, но приобретает другой характер: это уже движение не отдельных осей, а движение скоординированное в высвобождающее из-под груза, движение — полета. Когда грузчик пошел — ноша будет доставлена куда следует. Момент первого шага решает дело. И вот, как и которой ногой открыть движение, для этого существует опытная теория, которую мне не раз приходилось слышать и от дяди Григория и от других матерых специалистов.

Мне пришлось быть очевидцем двух смертей. Это случилось с опытными работниками. Груз был в обоих случаях до 12–14 пудов, вес солидный, но не рекордный, так что особенно выдающегося в переносе ничего не было. Первый поднялся с ношей по сходням — была погрузка баржи, — дошел до места и свалил тюк. Выпрямился, побледнел и штопором опустился на

слани. Вытянулся, изо рта показалась кровь, и, покуда искали ведро воды, — грузчик был мертв. Это был очень редкий случай смерти в практике грузчиков.

— Эх, ты, миленок, с левой руки осек сделал, так твою растуды… — нежно сказал над умершим товарищ, снимая шапку.

Во втором случае грузчик принял груз, сделал только один шаг, потом каким-то вырывающимся движением сбросил ношу, взметнул руки кверху, как на гимнастике, и хлопнулся навзничь… Только один слабый стон — и смерть. Это был осклиз: резкая, до срыва, сдвижка одного позвонка на другой.

Эти два классических примера профессиональной смерти наглядно показывают причину, их вызвавшую: и в том и в другом случае было сорвано движение полета; «летности потеряли» — говорят в таких несчастиях. Казалось бы, дыхание играет огромную роль при работе грузчика, но вот что говорят о нем:

— Дышание — это плевое дело. Ротом не всасывай только, дыши, как бы в воде плывешь.

Грыжа, опускание желудка, срыв почек, эти явления — обыденные, но свойственные, главным образом, неопытным или начинающим работникам.

Дедушка Федор умер иначе. Силач. Росту — без пяти вершков. Стройный, с напруженными плечами и грудью и, как все сильные до отказу люди, — добродушный и бережно относившийся к слабости других. Его выдающаяся сила не позволяла ему участвовать в кулачных боях — «стена на стену», но одно его присутствие вдохновляло и делало победителями вольновцев. И вот произошел такой случай во времена молодости Федора Петровича.

Бой шел по Масленице на Волге. Бодровцы наступали с юга, вольновцы с севера. Дедушка стоял на берегу со стариками, оценивая и обсуждая положение бьющихся. Положение было без видимого перевеса сторон: «стены» как бы играли вничью, но вдруг, неожиданно для вольновцев, с той стороны выступил, очевидно скрываемый доселе про запас, новый боец — мордвин из Опалихи: ростом с деда, но крупностью и медвежестью превосходивший Федора Петровича.

Стена дрогнула. Силач мордвин, как бы нехотя, шутя, валил передних. Вольновцы побежали. Тогда боец сделал знак своим — бодровцы приостановились — мордвин пошел один на стену врагов: было видно, ликовал своей силой парень. Почти у стены изумленных противников молодец остановился, скрестил руки и крикнул — «нападай»…

Сначала, кто посильнее, а потом и целой кучей навалились на него вольновцы. Опершись ногами и упрятав голову к груди —

боец стоял как бык, но вот один момент — и он стал отбиваться: полетели, как поленья, над его головой противники. Тут и стена бодровская бросилась на врагов — произошло стыдное, повальное бегство вольновцев к береговому обрыву. Перед обрывом нападавшие остановились. Из толпы выделились несколько человек, и начался, очевидно, по заранее обдуманному плану, ритуал поношения:

— Федька-то ваш что смотрит?

— Дрянь Федька — ломанья напускает. Силача корчит. Девкина порода, так его так…

У деда только бровь, говорят, вздернулась от последних слов. «Девкина порода» — иногда шепталось врагами за спинами, а тут впервые на миру было брошено в упор Федору.

— Вот он боец, так боец, — кричали враги, — на левую руку тебя вызывает. — Мордвин кивнул головой.

— Федяха, миленок, как это так… — заговорили старики, — неужто обиду снесем?… Растуды их так, брехуны они. Да как же нам на всю жизнь от зазора такого очиститься?…

На базар не показаться после этого. Вдарь, вдарь разок, батюшка Федор Петрович. Враги не прекращали брань.

— От суки сын ваш Федька. Над ребятишками ему в кулачки играть, так раз-этак…

— Федяха, дружлк, миленок!.. — задыхались от позора старики.

— Эх, так я пойду за обтду твою! — взвизгнул один из них и направился сквозь толпу.

Федор сдернул старика на место, вышел к обрыву к бе-регу и крикнул:

— Ладно, ребята, — вызов беру, только и мое условие ставлю.

Толпы обеих стен притихли. Федор продолжал:

— Биться один на один — до трех ударов — по очереди. Бить по обычью. Ни кистенев, ни рукавиц чтобы… Ни о ком на подумали бы злого чего…

Толпа зашевелилась и загудела всей массой.

— Зачинать кому? — крикнул мордвин.

— Зачинать по жеребью… — ответил Федор.

Выбрали место. Толпа сделала собой круг. Противники сняли полушубки, рукавицы, шарфы и шапки. Вынули жребий. Начинать приходилось мордвину. И вот два механически совершенных образца человеческой породы встали один против другого…

Толпа замерла окончательно.

Федор очень мало расставил ноги, чтоб иметь упор; сложил на груди руки и едва заметно покачивался. Мордвин засучил рукав рубахи.

— Ну, ежели Богу твоему веришь, — молись! — сказал он.

— Не тебе, брательник, скажу, верю ли в Бога, — отвечал Федор.

Мордвин, как медведь, ошарил возле своей жертвы, выбирая место для удара, и — ударил, с этим типичным гортанным выкриком рубщиков леса: г-гах…

Удар был в левый бок, под сердце. Такие удары вгоняют ребра в сердечную сумку и рвут легкое при неопытности принявшего удар, но Федор принял его как груз. Он взметнулся набок, сделал несколько волчковых оборотов и грохнулся на снег. Зарычал, чтоб скрыть боль, и медленно стал приподниматься на руки и сел на снегу. Лицо было окровавлено падением. Он наскреб рукою снега и стал жадно его глотать и снегом же растер себе лицо и голову, и только после этого он улыбнулся обступившим его друзьям.

— Федяга, ну как ты?

— Жив… — ответил Федор, — парень хороший боец… ну, да жив вот…

— Будет, что ль, ответ давать ваш-то? — крикнули бодровцы, — аль с копытьев долой?

— Буду! — сказал, поднимаясь на ноги, Федор Петрович. Теперь, упершись, словно вросши в землю, встал мордвин.

— Ну, прости, брательник, коль причина случится… Не я зачал — сам видел… — сказал Федор, подходя к противнику. Вытер наотмашь кровь с лица и приготовился ударить.

— Бью, брательник…

Раздался хляск, и тихо, непонятно медленно повалился на месте богатырь. Ни звука голоса и ни стона не издал свалившийся. Удар был височный, результатом его была смерть.

— Как же умер дедушка Федор, отчего умер? — допрашивал я бабушку Арину Игнатьевну.

— Смерть пришла, внучек, оттого и помер, — отвечала бабушка со своей манерой не отвечать сразу, а потом рассказала: — Подкатывало у него в левом боку, не от работы, ничто, а беспричинно… Сказывал покойный, что-де от мордвина у него памятка осталась… А уже чего не памятка — такой замятии ему наделал удалец опалихинский. Покаяние там церковное это уже само собою, а денег этих, что Федор перевозил в Опалиху — сиротам: без заставы всякой — от сердца ублажал потерпевших долю сиротскую. Говорили, я чаю по сплетенному делу, будто на вдове жениться хотел — Федор-то Петрович, да не судьбе так быть, значит — я подвернулась в жены-то…

Бабушка помолчала. Оправила под волосником гладко убранные волосы и продолжала дальше:

— Ну, вот, пришел Федор с работы, перед заговеньем Филипповым, сел на лавку, опустил головушку. Что, говорю, с тобой, Федор Петрович? А он: ох, говорит, Аринушка, плохо что-то мне… а руками голову поддерживает…

Собрала я поужинать. Похлебал он щец, да каши гречневой покушал и прилег на лавке.

Ты бы, мол, Федюша, на кровать расположился, коль недужится очень, а он рукой махнул: томит-де уж больно…

Я туда-сюда. Уложила ребятенок на полатях. Посуду прибираю за перегородкой вот этой. Думаю, приберу посуду да сбегаю на погребицу за капустным рассолом, а он, сердечный, как взноет: батюшки, Аринушка… Бегу, а Федор Петрович на ногах стоит, о стену опершись, а руками нутро разрывает… Я в обымку поддерживаю его… Сполз он на пол по стенке; бледный — лица нету, и мне уже в шепоте говорит: «Умираю, Аринушка… На тяжелую жизнь оставляю тебя с малыми…» Только его и было…

Старуха не смахнула слезу — и она долго искрилась на ее щеке… Помолчала. Вздохнула.

— Да, внучек, не дай Бог злому ворогу столько тоски хлебнуть, сколько мне пришлось после мужа любезного… До того дело дошло — чужому и не выскажешь. Приходит бывало час, улягутся ребятишки, а я сяду на лавку как очумелая и жду… И хлеб-соль на столе поставлю. А он в сенное оконце: тук, тук и — входит, сокол мой ненаглядный… За стол со мной сядет, а уж я смотрюсь не насмотрюсь на него… Слезы так и хлещут… Как запоет петух, — как свечка загаснет, все и нет его… Обымать даже пыталась, а он отстраняется, спину-де зашиб — не трогай, Аринушка…

Привороты-отвороты разные пытала, и вот одна баба заовражинская и поведала мне: «Ты, — говорит, — бабонька, со спины его ничего не узнаешь… Сделай так, как я скажу тебе: сидеть, беседовать будете, а ты в нарочно и урони ложку, или что там другое, на пол… Потом наклонишься к полу, чтоб поднять — там тебе и будет все: либо такой, либо этакий окажется гость твой…» — Да что говорить-то, и сейчас вспомнишь, так по спине озноб ходит…

— Бабушка, а дальше что было? Бабушка, милая… — начинаю ласкаться я к бабушке.

Арина Игнатьевна оправилась, отерла лицо белым с розовой каймой платком и посмотрела с улыбкой в глубину моих глаз.

— Аль больно знать надобно?… Ну, что же, ты у нас особенный, кречетом из нашего гнезда вылетел — только сердце не отворотил…

— Ну, так вот — просто и коротко закончила свой рассказ

бабушка, — уронила я ложку, как приказано было, — наклонилась за ней к полу, а под столом хвостище, как змея черная… Грохнулась я об пол да уже в больнице только и пришла в себя… Шесть недель з жару находилась, а после — как отрезало…

Глава третья
ЛИНИИ СХОДЯТСЯ

Отцу моему было около четырех лет, когда умер дедушка Федор Петрович. Он был самым младшим среди братьев. Арина Игнатьевна целыми днями работала по людям, чтоб прокормить и вырастить четверых сирот.

Дети были предоставлены самим себе, босые, в одних рубашонках боролись они с переменами зимы на лето. Сергуне, как самому маленькому, чтоб не отстать от старших, было всех труднее в этой борьбе. Все детские болезни перенес он, до того как стал себя помнить, за ними последовали и тиф, и дифтерит, и «горячки».

Мой отец не любил рассказывать о своих несчастьях даже своим близким, но сведения о его детстве от посторонних заставляют удивляться, каковы должны быть запасы наследственного здоровья, чтоб оставленному без помощи ребенку среди этих полчищ бацилл и микробов выжить, победить их. Результаты сказались, — отцу впоследствии недохватывало как бы некоторой доли водкинской силы, по сравнению с братьями.

Когда старший брат отца Григорий Федорович был принят артелью на ссыпку как полномощный работник — положение в доме полегчало: стало возможным подумать и о девятилетнем Сергуньке. Попыталась Арина отдать сына в школу, но из этого ничего не вышло — у мальчика от всякого условного восприятия-образования буквами слова начинались головные боли. Это было понято как лень, — Арина Игнатьевна жестоко наказывала сына. Как к самозащите, мальчик прибег к хитрости: направляясь в школу, он шел на Волгу, где работали уже оба брата, складывал в укромное место под амбар орудия учебы и начинал привыкать к вольной родной профессии, восстанавливая утерянное здоровье и закаляя мускулы. Ученье было оставлено…

На семейном совете брат Григорий сказал: «Слабоват он, боюсь, мамаша, для ссыпки, в нем выдержки жильной не хватит, Сергуньку бы к ремеслу какому ни на есть припустить».

Арина нашла совет резонным — отец был отдан в ученье к сапожнику.

В России существовало поверье: не все пьяницы суть сапожники, но все сапожники — пьяницы. Акундин, сапожный мастер, был пьяницей в широком, затяжном смысле этого слова.

Варка вара, крученье дратвы со вставлением в нее свиного

волоса; дальше мочка и растяжка товара; потом шов голенища; все эти первоначальные дисциплины прерывались бесчисленными антрактами для беганья к «Ерманихе» за шкаликами. И когда оказавшийся смышленым ученик дошел до кройки подъема и до заканчивания целого сапога, он уже не уступал и по шкаличной части своему учителю. Плохо кончил Акундин, сапожный мастер. Надо сказать, отец всегда относился с почтением и с благодарностью к своему учителю и нет-нет да принесет, бывало, об Акундине весточку, а весточки становились все хуже: «мерещиться стало Акундину», «в больнице от пьянства лежал Акундин». Однажды отец вернулся с базара бледный, взволнованный, прямо с места события; Акундин зарезал в куски жену свою кроильным ножом, исполосовал самого себя и в страшных муках умер, побежденный водкой. С этого дня отец навсегда перестал пить. Что касается ремесла, ученик его честно воспринял от учителя формулу: прочность сапога — залог его долговечности. Деревенские заказчики были без ума от работы отца. Им он главным образом изготовлял «холодные калоши» — это чрезвычайно портативный вид обуви, главным образом для грязного времени. Удобство их надевания: стоят такие калоши, воткнул в них с налету мужик или баба ноги и пошел. Размер их также большой роли не играл: в больших калошах мог и ребенок передвинуться через мокредь, если, конечно, у него хватало силенки вытянуть их из грязи.

— Обувка неизносная, можно сказать, — говорили деревенские. — А прочности такой, что брось их о камень — так зазвенят от прочности.

Этим качеством был вправе гордиться мой милый мастер. Кожу он умел выбрать: до упокоя души хватит, — как определял он ее сам, поглаживая и охорашивая черный, как смола, товар, прежде чем приступить к работе.

Из-за этой же прочности происходили иногда и недоразумения, конечно, только с городскими заказчиками. Городской от сапожника также прочности сапог просит, но, кроме этого, чтобы и легкость была, и форс, особенно бабы-молодухи, те, можно сказать, птичьего молока от башмаков требовали. Придет, бывало, такая — и ну щебетать с надрывчиками:

— Батюшка, Сергей Федорыч, да ведь не поднять их с ногой-то, от полу не оторвать — такая тягость.

— А тебе из бумаги бы их склеить, — урезонивал заказчицу отец. — Поди базарную купи обувку — кардонку тебе положат заместо стельки. Я бы тебе тоже легости напустил, да в глаза-то тебе как после смотреть?

Второе, чем отличался отец, это точностью меры. Иногда

мать со стороны скажет:

— Да ты, Сережа, на мозоль прибавил бы мерку, видел, нога-то какая у мужчины…

Отец не сдавался: точность меры для него была закон.

— Раз мозоль есть, так срезай ее, не по мозоли мне сапог уродовать, его же засмеют, да и мне стыд будет, если я ему по мозолям выкройку сделаю.

Так же отец резонил и заказчика.

— Да оно, конечно, — печально соглашался заказчик, — что говорить, фасон что и следует, но жмут больно очень. Иной раз, не поверишь, за сердце ущемит, такой жом…

— Ну, об этом, милый человек, беспокоиться не изволь, — добродушно отвечает отец, — разносится. Заметь, чем больше он ногу жмет, тем больше ему нога сопротивление оказывает, — как же не разносишь против людского упора никакая кожа но устоит…

Успокоенный заказчик уходил, незаметно похрамывая перед пстречкыми, восхищавшимися блеском сапог и их форсом.

Но что прочность и что блеск по сравнению с сознательным применением к сапогу «форса», которое вправе было считаться изобретением отца и которое сделало его популярным на окраине мастером — он стал создателем этой моды.

Форс или скрып, образующийся в сапоге от трения стелек о подметки и возникающий случайно, конечно, ничего особенного не представляет, иногда это просто несчастье, от которого невозможно вылечить сапоги, — бывает ужасный скрып. Это хлыновцы поняли после того, когда услышали организованный скрып бодровских парней-форсунов, обутых моим отцом: идет, бывало, молодчик с другой окраины и тоже со скрыпом, а сапоги его и скрыпят; «ду-рак, ду-рак» — тут и мальчишки и взрослые подымут форсуна на потеху, тот то на траву переметнется, то в пыль самую залезет, чтоб «дурака» этого в сапогах заглушить…

Отец подошел к производству форса как к звуковой выразительности, его сапоги звучали как по камертону.

— Эх, поют сапожки-то — сердце радуют… Девки от форсу млеют, — говорили знатоки. Скоро весь город был охвачен этой модой.

Свои «форсы» отец узнавал в любой толпе. Бывало, возвращаемся ночью. Во тьме, на другой стороне улицы, слышно, скрыпят сапоги.

— Василий Рожков идет, — сообщает мне отец. Потом прислушается: — Сдал сапог, — правая нога сдала — слышишь, ноту не доводит. Не иначе, вовнутрь стаптывает… — И потом уверенно кричит в темноту: — Василию Дементьевичу почтение

нижайшее…

Люблю до сих пор обстановку и запах сапожничанья. Кожи, вар, лак — бодрящие меня запахи. И отца вспоминаю по ним, с его открытой улыбкой, добродушным юмором и рассеянностью.

Сидит он за верстаком с сапогом, зажатым в колени. Голосом от октавы до фальцета поет:

Жила-была красавица,
Разбойника дочь.
Она была смуглявая,
Как черная ночь…

Мать убралась. Шьет, штопает у стола. Подпевает мужу.

— Да что ты, Сережа, то хрипишь, то бабьим голосом воешь. Пел бы серединой… — скажет мать.

— Серединой, Анена, никак невозможно, голосу в горле тесно, то в нёбо, то в глотку бросается: тут ему и сила разная… — отвечает, делая серьезную гримасу, отец.

Часы, с подвязанными к гирям тяжестями, спешат, спотыкаются от тиканья. Вдруг захрипят и, как дворняжка, сорвавшаяся с цепи, начнут отлаивать часы. Отец недоверчиво взглядывает на них.

— Не забыть бы керосином смазать — говорит он как бы себе.

— Замучил ты их совсем, — говорит мать.

— А разве плохо? Ты посмотри, старуха, — часы нам ровня, а в ходу за ними молодому не угнаться… Ну, а керосинчиком их надо побаловать… Слышишь, минутная шестерня цепочку сбрасывает: опять окаянный таракан в колесе засел где-нибудь… — По ассоциации о часах отец продолжает: — А что, Анена, — запамятовал я, — задолго до Кузи купили мы их?

Мать вздыхает и отвечает точно и с торжественностью:

— На пятый месяц три недели в тягостях ходила…

— Да, да, — обрадованно вспоминает отец, — с работы мы шли. Разделили деньги. Выпили на лишек… А у меня так и бьется в голове: часы да часы… Артель — свое дело, еще да еще выпить, а мне никакого удержу нет: чего доброго лавки закроют. Оставил денег на складчину, а сам побежал… Выбрал вот их, под мышку взял и ног под собою не чую… И часы бы не разбить, и тебя скорее порадовать хочется, и сам в нетерпенье… — Отец помолчал, растянул задник на колодке и укрепил его. — Вот ты и поди, — задумчиво продолжал он: — Иной раз в голове просто разрывается, чтоб другому хорошее что передать, а сунешься до человека и выражения не подыщешь… Да… — Но сейчас же заулыбался и опять о часах: — Место я им заранее придумал в

келейке: на косяке, против окошка… Тебе и сказать не хочу — дело в чем: лежала ты тогда, а к двери тебе не видно… Ты мне с кровати говоришь: пища на шестке стоит, ешь, мол. Ну какая еда тут? Вколотил гвоздь, прицепил гири, маятник и повесил… Дошло дело стрелку ставить, а время и не знаю сколько. Ну, думаю, ладно — пусть будет семь, без чего-то… Пустил маятник — часы и затикали… А ты с кровати…

— Сразу догадалась я, — перебивает мать, — тренькал, тренькал ты ими, а мне тогда не до часов была.

— А когда часы бить начали? — хитро улыбаясь, спрашивает отец.

— Да, да, — встрепенулась мать, — ведь вот совпало как…

— Пружина дзинь… — продолжает отец.

— Да, да, — перебивает мать, — а он в это время под сердцем — тук, тук, ножонками… В первый раз зашевелился…

— Вот они какие, часы, — победоносно резюмирует отец, стряхивает обрезки кожи с фартука, свертывает козью ножку, сыплет в нее полукрупки и идет курить к печной отдушине. Вертушка сопит, трещит, и разлетается искрами махорка. Клубы дыма рвутся в отдушину… Мать вздыхает:

— Не ждала, не гадала, что за тебя замуж выйду.

— Судьба зла — полюбишь козла, — делая гримасу сожаления и подражая вздохом жене, говорит отец и продолжает шаловливо: — А меня, думаешь, спросили? Мамаша с вечера сказала: слышишь, Сергей Федорыч, если ты завтра напьешься, так я шкуру с тебя спущу и на глаза больше не показывайся… Хорошо, отвечаю, мамаша… Ну, так вот, завтра смотрины. Вдовы Пантелея Трофимыча дочь Анну смотреть будем… Ладно, говорю, мамаша… Вот и дело было сряжено, а мою суженую только что в лесу тогда встретил, да и то ни ножек, ни рожек не запомнил сквозь сон мой лесной… А на смотринах увидел и думаю: «Ну что же, чем не жена: щупленькая, хрупенькая — за пазуху положу — и тепло, и не тесно».

— Ну, болтушка, — а на Малафеевке чего рыскал? — не без кокетства спрашивает мать.

— На Малафеевке? — Отец сквозь улыбку деланно морщит лоб. — Не помню, по хорошему делу, верно, бывал, раз говоришь — бывал: молодцу пути не заказаны, женушка.

— Ох, уж если бы знала пьянство твое — в Волгу бросилась бы, а не пошла, — решительно заявила мать.

— Эх, Анна Пантелеевна, если бы от нашего пьянства в Волгу бросались, так от девок пароходам ходить бы негде было, — шутил отец, — а вот где бы тебе второго такого молодца найти? А?

Мать розовела лицом. Бросала на отца скользкий взгляд и выдавала свое женское сердце. Отец заслуживал этого.

Перенеся всякие хворости и недуги детства, отравляемый чуть ли не с детства же водкой, Сергей Федорыч все-таки выровнялся, — порода взяла свое. Вершка на два уступающий деду Федору в росте, он был стройный. Нависшие черные брови над стального цвета глазами, прямой с небольшим изломом нос, тонкие губы Водкиных. Навислость бровей, казалось, должна была давать сумрачность его лицу, но лицо детски доверчиво смотрело на вас. Он не мог долго не улыбаться перед собеседником, и казалось, все дурное в человеке не достигало его внимания.

Смерть отца раскрыла вполне его отношение к людям. К его гробу сошлись неведомые и незнакомые люди, оказывается, каждому он чем-то помог — не деньгами и не советом умным, а вот каким-то простым, глубоко человеческим вниманием и прикосновением к другому.

Отец обладал удивительным чувством общительности и всегдашним стремлением к какой-то идеальной артельности.

Мать моя в свободную минуту любила поговорить, обсудить и поплакаться о своих и чужих бедах. Любила расставить в порядке людей и события, чтоб они не путались между собою и стали ясными порознь. По одному какому-либо остронаблюденному признаку незначительное событие или человек приобретали характеры типов. Звучали голоса, мелькали жесты изображаемых людей. Все становилось большим, как в увеличительном стекле, приподнятым становилось и смешное, и чувствительное.

— Гарасимовы купили самовар, — рассказывает мать. — ребенок в кори лежит, — не до него им: с раннего утра до обеда пьют чай… Мокрые, потные и все в окно выглядывают — не зайдет ли кто. Мучаются, наливаются горячим, а соседи и не замечают гарасимовского события. Наконец не выдержал сам Павел Макарыч, — вышел к завалинке. Враспояску, ворот настежь, с волос и с бороды пот течет, рубаха мокрая. Отдувается Павел Макарыч, рубахой над животом машет… Ну, вот и счастье привалило: проходит кузнец знакомый. Просиял Павел Гарасимов. Пуще отдувается, рубахой, как поддувалом, работает. И сразу кузнецу:

— Чай пьем. Все утро чай пьем — самовар купили…

Что касается рассказов матери о бедах, — они часто приобретали такой безысходный характер, так некуда, казалось, деваться от ужаса и горя жизни, что замирало сердце. Пред вами развертывались дикие, грубые взаимоотношения людей между собой. Безнаказанные мучители, беззащитные жертвы, четко

разграниченные, взывали вас на мщение и на помощь страдающим…

От человека страдали и деревья и животные, но и сам человек был жалок и беспомощен в рассказах матери. Выхода мать не искала и не подсказывала его в наблюдаемых ею коллизиях жизни.

Сильно и много бороздили детское сердце эти образы — они были для меня школой по восприятиям резко колеблющихся эмоций. Это меня делало нервным, но это же и развивало во мне остроту восприятий и раннюю наблюдательность. Мать так же остро, поселяя в них человеческие переживания, относилась к пейзажу, растениям и в особенности к животным, космос для нее был единым целым с огромным бьющимся человеческим сердцем внутри его, и здесь у нее был какой-то особенно верный подход, уничтожающий грани между жизнями. Недоноски-цыплята приходят ночевать к ее изголовью; петухи взлетают и поют на ее спине, когда мать готовит птичий корм. Дикая, молодая лошадь, сорвавшаяся с недоуздка, радостно ржет Б поле и бажит на голос матери, чтоб вытянуть голову на ее плече. Собака скулит, не подходя ни к кому, ожидая мать, чтоб протянуть ей для лечения окровавленную лапу. Наконец, укушенная бешеной собакой Белянка — телка, беснующаяся от мучений, кидающаяся на всех, — останавливается перед мзтерь: ю как вкопанная и принимает последнюю ласку, чтоб умереть под гладящей ее рукой — близкой к «своей» матери. Растения от черенков, от пеньков, сунутые в любой черепок с землею, принимались под рукою матери. От одного такого обломка, поднятого на улице, разрастается ее знаменитый на весь город филодендрон, чуть не на глазах выпускавший колена и разворачивавший огромные листья. В свое время я специально обмеривал в ботанических садах Москвы и Петербурга размеры листьев лучших филодендроновых экземпляров, и они уступали нашему хлыновскому отщепенцу. В доме, как в тропическом лесу, трудно было пробраться от вьющихся, тянущихся и распластывающихся растений: нежнолистые пальмы, олеандры в розовых платьях, целое дерево стройного пахучего лимона с крошечными лимончиками.

История последнего дерева такова. Уезжая с каникул в Москву, закончив последний стакан чая, сунул я машинально из обсосанного мною лимона зернышко в землю близ стоящего цветка и уже потом, много лет спустя, залюбовавшись на красавца-деревцо, спросил мать — откуда оно, и матушка рассказала мне историю «кузиного лимона».

Домовитость доходила до мелочей: чтоб ничто не пропадало.

Хворостинка беспризорная имела свое назначение, старому гвоздю, оборвышу материи, всему находила мать место и применение.

Глубокой осенью, уже в обнаженном саду ходит моя старушка с палкой, роется возле яблоневых стволов — не попадется ли где яблочко.

— Что ты, мама, какие тебе тут яблоки, понапрасну спину утомляешь, — кричу я с балкона мастерской.

— Не говори, сыночек, оно вот тут возле яблони укроется, его и не увидишь сразу… Вот уже три нашла, — показывает она яблоки. — Ты рассуди сам, — ведь эти яблоки погибнут ни за что, а соберешь их, они на пользу пойдут…

Домовитость у матери по крестьянской линии.

— По колоску, по зернышку, а сбякали целую страну мужики-то! Как вот ее ни расхищала, ни продавала военщина всякая, а она, матушка, от моря до моря рожью да пшеницей распласталась — говорила мать. — А уж в такой необъятности легко и Ломоносову и Пушкину великие дела совершать…

Весь дом, полный сиротами, после дяди Вани принятыми ею к себе, обслуживался руками матери. Жадность к делу. Вечная занятость. Чуткий сон — успеть бы вовремя. Кто-то закашлял — не заболел бы? Не перекисло бы тесто… Болезненно замычала Красотка, уходя в стадо. Выбилась пакля из дома… Ржавеет крыша… Вечные заботы матери, вечно в колесе труда.

Просыпаются в доме, а у матери уже весь двор напоен и накормлен, хохлится довольная птица, играют рожками молодые козлята, воркуют под сараем зобастые голуби, и уже трещат в масле пухлые лепешки для людей, и фыркает на горячих углях изготовленный самовар…

От матери я получил стыд к пустому, бездельному времяпрепровождению…

Вернемся назад. Домишки под одной крышей находились внутри двора по границе с соседями. Окна передней избы выходили на Волгу. Место, бывшее целым душевым, было урезано за вдовство Федосьи Антоньевны уступкою частичных участков. На них были поставлены две избушки. В одной из них жил караульщик Андрей Кондратыч, который появится ниже действующим лицом возле моей жизни. Другая постройка была в стороне и не касалась нашего двора.

От избы бабушки шел уступами к Волге обрыв. В верхней его части был садик с двумя яблонями и грушей, с малинником, крыжовником и смородиной. Ниже, по скату обрыва, сажались тыквы: на рыхлой земле, на припеке бабушкины тыквы достигали огромных размеров и яркой окраски. Здесь же садили картофель.

Еще ниже отделялся плетнем заливной огород. К обрыву на высоких сваях приткнулась банька — детище дяди Вани. Весной в этой баньке — как на лодке: по узкому, в две доски, насту спускались к дверям, а под передбанником и под теплушкой лизала пол, булькала и плескалась вода. Над баней вяз раскидывался листвою ввысь и мощным стволом поддерживал сваи от смыва их вешней водой. Огород тянулся до нижней береговой дороги. Главной овощью этого огорода были капуста и огурцы. Моя мать выросла на примере ее матери Федосьи Антоньевны. С ранней весны: рассада, посадка, полив, до дома приступа нет.

— С капустой вот как измотаешься: и листочки оправляй, и жука и черву разную не допускай к листу капустному, — говорила бабушка. — А огурец, этот и вовсе что малое дите: то ему жарко, то холодно. Камушек у корешка встрелся — болезнь. Недолил — вянет. Перелил — чахнет. Ну, а если на него потрафишь, так он тебя отблагодарит: сладкий, ровный, в засол хрусткий, что тебе свежий.

Домовничает Февронья Трофимовна. Уберет в избе начисто. Обед в печь поставит и усядется на завалинке над огородом с рукодельем: и крестом, и гладью, и просветом драгоценит она вышивками холсты и полотна. Мать и дочь услаждают огородную землю, холят несмышленую ботву выползающих огуречных росточков. Худенькая, быстрая Аненка стреляет огородом, поспевая за матерью. Извивается под коромыслом, таская ведрами теплую илистую воду Волги. Аненка еще находит время сбегать наверх к тетке к ее рукоделью — полюбоваться да и покритиковать работу. К этому времени прилежная ученица тетки догоняла в знании рукоделий свою учительницу — недоступного в шитье и в вышивках для нее становилось мало. Феврония Трофимовна гордилась Аненкой…

С огородом надо спешить. К Петрову дню чтоб он был на твердых ногах, чтоб тетка Февронья с помощью Вани (полить огород с вечера) сама справилась с огородом. После Петрова дня страда начинается.

Страда — это боевой клич нашего города. Назрело самое главное, подготовлявшееся с весны, с первой засеянной мужицкой полоски. Хлебом жили и волновались с начала посевов.

— Удался ли посев? Какие всходы? Не ударил бы мороз.

— Колоситься, колоситься начал, — звучало по городу. Вечерами по небу начнутся зарницы далеких молний:

«Наливает хлебушко!» — несется радостный гул. Пройдет под налив ровный дождик — сияют люди — подумаешь, посевщики тоже, а ведь у них своего-то хлеба и на аршине не посеяно.

Это было затаенное сожительство с ростом колоса. В зависимости от процесса там, на полях степей заволжских, город оживлялся, либо затихал.

Помню с раннего детства на себе гнетущую тоску от засухи, помохи, суховея, саранчи, тучами закрывшей солнце, и помню клич: «наливает хлебушко» — и, как жаворонок взовьется, бывало, сердце.

Страда началась — означало, что свершились все ожидания, колос за себя постоял.

Первые завозятся татары. «Татарва тронулась», — понесется от одного к другому по городу.

Татары в нашем уезде были превосходной выносливости и честности жнецы: брали верную высоту соломы, работали и ночью, что под силу только очень опытным работникам. Татары ухитрялись кое-как ликвидировать свои плешивые, недозрелые полоски или поручали оставшимся старухам подергать недожатое у себя, а сами целыми деревнями с детьми и женами, с самоварами и одеялами и всей рухлядью грузились на телеги-таратайки и направлялись за Волгу, на юг, к станицам.

Днем и ночью скрыпят и бренчат скарбом обозы; ревут ребятишки, воют между колесами татарские псы. На пристани у перевоза заторы. Двойные баржи не в силах управиться с погрузкой… Драки и крики. Ночные костры. Запах конины… Наконец первые человеческие волны схлынут. Теперь в ночную пору за Волгой замельтешат костры осевших, либо застрявших с ночевками обозов. Татары разбредались далеко, — поэтому и выбирались заранее, но тем не менее сборы начинались и у горожан. Хлеб вызревал не ровно. Иногда от местных условий — росы, дождя, захолодания — вызревание было разным на протяжении одного уезда… Но случись помоха, тогда каждый день замедления грозит урожаю: ухвостье свернется, обнажит зерно, и оно не только от прикосновения серпа, но и от незначительного ветра выпадает из гнезда.

Федосья Антоньевна сняла с чердака серпы, где они зимовали смазанные салом и завернутые в обмотку. Теперь серпам давалась направка. Серп для жнеца — это смычок в нем все должно быть пригнано в размере и весе для работника. Хорошие серпы на базаре не покупались. У нас в городке было несколько кузнецов специалистов, знавших секреты кругления лезвия, нарезки и накала стали.

Спешная забота бабушки Федосьи состояла в наборе «дружбы». «Дружбы» — это небольшие в четыре — шесть человек артели жнецов, берущих на себя отдельные участки жнивья.

Хорошая «дружба» — это ровный подбор работников, не

«заедающих чужую спину». Бабушка рассказывала о своей подруге Сысоевне, с которой она жнивала двенадцать лет подряд в «двойке».

— Начнем десятину с разных концов до рассвета. Солнце над головой встанет, а мы плечо к плечу по середке самой и ты, хоть саженью меряй, и снопов моих и ейных поровну… А ведь другой начнет махи махать, из серпа выскакивать, — такую линию объедет и не сыщешь его в хлебе-то… Сысоевна, покойница, — эта по-родительскому жала: серп в серп, — говорила бабушка.

Похвала «серп в серп» означала считавшееся «родительским», то есть классическим перпендикулярное положение двух дуг: жнеца и серпа. От этих дуг, как уверяли старики, пошла и горбатость русская.

В «дружбу» бралась и молодежь на «полсилы» и даже на «четверть силы». Иногда работник послабее брал себе такого помощника и включал его в себя, то есть они вдвоем считались одной силой.

Аненка шла жать на полсилы, в чем ей завидовали подруги-девушки.

— Это была моя последняя девичья волюшка, — рассказывала мать. — Но зато и надышалась я ей досыта за это жнитво. Воздух степной, медовый… Народу со всего света, казалось, набралось — мордва, чуваши, татары — на всех языках говор. Песни ночью по степи раскинутся, словно навзрыд вся земля застонет. Костры, как пожары по степи… А зори какие! Нет, уж таких зорь не увижу больше…

— Почему? — спрашиваю.

— А ты бы как думал. — молодость моя вернется? Глаза прояснятся? Оттого так и виделось, что молода была. Жизнь-то передо мной скатертью развертывалась, а теперь она на салфеточке — тут вся…

Глава четвертая
ЛИНИИ СОШЛИСЬ

Хорошее в том году выпало лето. Жара и дожди прошли вовремя. Сбор хлеба и молотьба были удачными. Да и вести с войны были благоприятны, победоносные. Каждая семья, у которой кто-либо из родни участвовал на войне, была уверена, что вот их парень собственноручно и побеждает врагов лютых и уже, конечно, живым да еще с медалью вернется домой.

К осени появилась первая партия пленных турок. Толпами бросились хлыновцы к тюремному замку на Острожную улицу, чтоб полюбоваться на порабощенного врага, и тут хлыновцев постигло разочарование: никакой перед ними лютости, в цепи и кандалы закованной, не оказалось. Сидят на тюремном дворе самые что ни на есть простые люди, мужики, как и наши, лопочут только по-ихнему да фески у которых на головах, а сами оборванные и измученные за дорогу. Начались соболезнования: вот, мол, и наши парни где-то там, в Туркии, так же мучаются, и понесли хлыновцы врагу лютому кокурок сдобных, холстины, обрезок сапожных.

Бабье лето наступило в полной красоте. Серебряные паутины сверкали на солнце; золото и багрянец опавших листьев покрыли дороги и прогалины леса; калина и рябина огнились своими гроздьями…

Аненка с матерью отбывала вторую страду: по грибы, за орехами, за калиной. В лесу праздник. Шум и многолюдие. Пестрят сарафаны и рубахи. Смех, песни, ауканье… Хорошему грибнику на таком базаре делать нечете. Надо уходить на Ровню, где в чащине леса растет калинник, а на полянках между березами попадаются белые грибы.

Я с бабушкой ходил по грибы. В лесу бабушка вела себя скрытно, чтоб голоса не подать, и мне запрещала шуметь.

— Ты на гнездо наткнешься, а бабища какая-нибудь на голос привяжется — и ну обирать твою находку…

Помню ее начальную грамоту.

— Глаза поверху не таращь… В лесу соблазна много: и тебе птичка зачирикает, и цветочек в глазах замельтешится, а ты о грибе думай… Дурной гриб наружу лезет, а настоящий гриб скрыто растет, листочками, землицей укроется… Для начала не привередничай, собирай, что Бог пошлет — петом разберешься: груздь пойдет и маслята выбросишь.

Меня удивляла зоркость бабушки: под неприметной для меня

вздутостью хвои бабушка вскрывала целые семьи рыжиков, копнув палочкой перегной, вскрывала в пятерню величиной груздь…

— Кузярка, сбегай на пригорок, вон из-под листа боровичок виднеется. — А ей уже было за семьдесят лет.

В глубокой старости, наблюдая, как моя мать при помощи очков вдевает в иголку нитку и мешкает, бабушка говорила:

— Да ты бы стекла сняла — мешают, чай… А то давай, я тебе вдену.

Собирая на ходу, что попадалось, добралась Федосья Антоньевна с дочерью на Ровню в тайные белогрибные места. Анена только ахает на толстые корневища. Здесь уже ее не учить — грибы сами в лукошко просятся. Обобрали одно место. Бабушка хворостинку на дерево повесила, — мету поставила, — и пошли мать с дочерью дальше, ошаривая траву возле пней…

И вдруг голос женский, строгий такой, звонкий из чащи.

— Я присела от неожиданности, — рассказывала мне моя мать, — а голос говорит: — Сергей Федорыч, дитятко мое любимое, что же это ты дубиной стоеросовой в небо уперся?

Женскому голосу отвечал мужской, молодой:

— Я, мамаша, смотрю, словно бы гуси полетели.

— Куры полетели об эту пору… Угораздило меня, грешную, обузу с собой взять. Духу ты лесного не чувствуешь, — продолжал женский голос. Мужской добродушно отвечал: — Чувствую, мамаша, лопни глаза, чувствую, так спать хочется — просто деваться некуда…

Федосья Антоньевна подала было знак дочери, чтоб уйти подальше от голосов, но листва раздвинулась, и к ним вышла крупная, моложавая старуха. Чернобровая, с длинным разрезом век, из которых смотрели живые, пытливые серые глаза. Плоский, чуть поднятый нос и широкий рот с тонкими губами делали выражение лица строгим и заносчивым. Следом за ней выкарабкался из чащи высокий парень с лицом, опушенным бородой. Он первым снял картуз, поздоровался и присел в сторонке у дерева. Женщины заговорили:

— Мир вашему.

— Подите к нашему… — Осмотрели грибы; похвалили одна другую за добычу. Затем последовал обычный разговор. Незнакомая говорила певуче, особенно ударяя на слогах:

— Чьи будете?

— С Малафеевки. Вдова я Пантелея Трофимова, щепни-ка, — отвечала Федосья Антоньевна.

— Как же, знаю… А я Водкина, Арина Водкина… Может, слышала про моего Федора Петровича?

— Слышала, слышала. Мой покойник знавал твоего Федора… А это дочь моя — Анна.

— А это мой сынок младший, Сергуня, — Арина Игнатьевна обернулась, отыскивая глазами сына, чтоб представить его присутствующим, а Сергуня, положив руку под голову, растянулся на осенних листьях и сладко храпел. Видя, как Арина Игнатьевна вскипела от бестактности сына, Федосья АнтоньеЕна вступилась за парня:

— Ото его воздух уморил. Пускай его отоспится. А и нам не грех отдохнуть, хлебушка пожевать…

Грибницы повынимали из котомок еду. Бабушка Федосья выложила огурчиков на круг, бабушка Арина яблочек и, закусывая под храп моего будущего родителя, продолжали беседу.

Арина Игнатьевна заговорила с девушкой, зорко выпытывая ее глазами.

— Ой, настрашили меня тогда глаза моей будущей свекровушки, насквозь пронизали, — говорила мне мать.

Это была первая встреча моих отца и матери. Попрощались они и разошлись до поры до времени.

С холодными заморозками начиналось девье лето: посиделки, просваты, свадьбы. Из дома в дом ходила молодежь. Отпевали девичьи голоса своих просватанных подруг. Шелушились орехи и семечки, и лились полюбовные песни и шепоты…

Осенью парни каждой улицы волками делались к захожим: не ходи, не выглядывай девок наших. Покуда не произошло открытого сватовства девушки с юношей с другой окраины, до тех пор дорога ему сюда закрыта — огласка снимала запрет: это был родительский обычай.

На посиделках услышала Анена, как парня одного до крови избили малафеевские… Старики-понеты Захаровы с кольями вышли, чтоб предотвратить убийство на своей улице — они и спасли захожего молодца… С Вольновки парень — Водкин, сапожник… Неделю спустя возле дома, где происходила на этот раз помолвка, разыгралось побоище. Парни выскочили из избы на подмогу своим, девушки смолкли, притихли, — это братья Водкины приходили отомстить за пролитую кровь брата Сергуни… Анене вспомнилась встреча в лесу.

Загуляли забритые — стон пошел городом от пьяной отваги и отчаяния. «Саратовская с перебором» пронизывала морозный воздух — надрывались гармоники и трепались как живые души из конца в конец Хлыновска. Об зту пору на посиделках одна из подруг и шепнула Анене:

— На днях тебя сватать будут. Верно-наверно знаю.

— Кто? — испуганно спросила Анена.

— С Вольновки, за Водкина…

Девушку как в колодезь опустили — ни песен, ни веселья не слышит она. Понять не может, плохое или хорошее идет к ней, но слезы текут сами собой, и не остановить их вышитым платочком…

Дома про услышанное она не рассказывала, но заметила, что в доме шептались — мать с теткой уже знали о предложении. Накануне смотрин Анена была предупреждена теткой о предстоящем событии.

Дальнейшее произошло быстро и незаметно по времени. Отпели Анену подруги нежными девичьими голосами, расплели косу и заплели на две косы, и стала Анна Пантелеевна женой Сергея Федоровича.

Молодой супруг перешел жить под тещин кров в келейку.

— И что теперь за свадьбы стали играть: только бы окрутить парня с девкой… Напьются до одури последней, пропьют сватья сына с дочерью и рады, — дело сделано, а как это в семье новой откликнется — про то и дела нет… Ну, она и пойдет собачья жизнь, от Бога грешная и от людей зазорная…

Это сидим мы с бабушкой Ариной на лавочке перед ее домом.

Летние густые сумерки наполнили улицу Водкиных. С Волги несется перевальная сирена Кавказ-Меркурия, не вяжущаяся с бабушкиным говором, бабушка это чует, чует, старая, что жизнь пошла не в те края, что не повернуть ей жизни, что если бы не я, внучек ее любимый, перешедший во вражескую ей жизнь, — значит, и ее родовое не затеряется, а может быть, и проявится через меня, если бы не эта увязка, — прокляла бы она эту неверную, свихнувшуюся жизнь и ждать бы не стала развертывания ее дальнейшего… Бабушка продолжала:

— У меня, чтобы жених, тем паче мое детище, да чтобы напился при таком случае, — грозно произнесла Арина Игнатьевна и после некоторого молчания продолжала:

— Твои родители по чину женились… И кори, не кори меня этой свадьбой, за правду ее до смерти стоять буду… Да, внучек, свадьба один раз в жизни бывает, с нее плоды зачинаются, с нее жизнь строится… Я ведь невесту сквозь-насквозь просмотрела, прежде как решиться судьбы вязать… Не к тому, что Сергуня мой какой бы особенный был, а чтоб правда вышла от свадьбы. Ты посмеяться можешь над старухой: а вот я, когда, невесту сына насквозь разглядывала, — вот о тебе, сокол, думала, вот такого-то мне от сына моего и надо было, нутру моему надо… А ну-ка, попрекни кто Арину Водкину, что она ошибку сделала? — воскликнула бабушка победоносно.

— Девка плачет — ее девкино дело, парень — о себе думает, а за себя ответ не парню с девкой держать, — тут вся порода отвечает — может с изначала самого. Вот она какая есть свадьба человеческая, — закончила бабушка Арина.

Следующее рассказала мне бабушка Федосья.

— Пошла я как-то на базар и повстречала Арину Игнатьевну. Я, пожалуй бы, и не узнала ее, да она первая напомнилась. Дорога наша попутная — с базара пошли вместе. Говорили о том, о сем, как полагается, только сваха Арина и повернула беседу на сына: вот, мол, пора его к законной жизни обратить. Потом об Анене — тоже, мол, забота в доме, в летах ведь девушка. Как Бог даст, отвечаю: сбывать не хочу, а и придержки особенной не делаю… Разговариваем так, уж Вольновку прошли, а она со мной, да со мной, да и добрались досюдова.

Не обессудь, говорю, Арина Игнатьевна, — зайди отдохнуть. — Дома только сестрица Февронья была, а я и рада, что при советчице мудрой разговор пойдет — сама-то я, знаешь, несмелая, потерявая, а за родную дочь и ума не соберешь сразу…

В избе Арина разговорилась начистоту: мол, хорошо бы поженить наших детей.

Сестрица с Ариной Игнатьевной одна на другую умом и рассуждением набросились. Я в стороне себя держу, да только слушаю. Думаю, не даст ошибки Февроньюшка.

«Вот-де, говорят, выпивает Сереженька твой, — говорит сестрица, — не запойный ли, кой грех». А сваха ей: «Кура, да и та пьет. От перемены жизни все это зависит, на то, говорит, и жена хорошая, чтоб любовью водку заменить…» Хорошо, гладко говорит, ну да сестрица не уступает. Долго беседовали, а в конец Февроньюшка и говорит: не будем, мол, пока огласки делать, а дозволь мне Сергея твоего просмотреть, а ты наш товар обдумай…

Ну вот, денька через два пошла Февроньюшка к Водкиным — будто по делу какому, а обернувшись от них и говорит: «Посмотрела жениха, Фенюшка, и скажу тебе по совести: не будем навязи показывать, как с нашим товаром полагается, а отворота делать тоже не следует, потому — парень ласковый в слове и в обхождении, чистого сердца парень… Наша Аненка, что грех таить, с задором, а тот нараспашку парень, — а из двоих может толк выйти». Иди ты, говорит, завтра с дочерью на базар. В мучном ряду с Ариной Игнатьевной встретитесь будто невзначай — хоть она и говорит, что знает Аненку, да пускай поглубже просмотрит… А что, говорит, свахи нашей будущей касается — так с большим смыслом баба и потому трудная бывает, но баба — сердца огненного. Ну, а мы на всяк случай Сергея в дом

возьмем…

Вот, так оно все и вышло. Назначили смотрины, а там и свадьбу сыграли…

Мать мне рассказывала:

— Известили меня накануне смотрин. И хотя была я подругой оповещена, да все думала — слух один, а тут, как услышала вправду дело, так и взревела… Мамынька ко мне, а тетя отстранила ее: «Не мешай, говорит, Феня, пусть она слезами с сердца сольет… Дело-то и впрямь серьезное. Это у них по-настоящему раз в жизни бывает». Потом ко мне обращается: «Ну, Анена — мы прикидываем, а тебе раскинуть придется. За парня матери легче обдумать, чем за девушку, — тебе и слово последнее…»

А я только слезы глотаю. Сижу на смотринах словно связанная. Предо мной женихова мать. Слова из тонких губ, как бисер, откатываются. Вскинет серыми глазами из-под бровей, и как бы сквозь меня глаз прошел. Спросит что, а я дура дурой, ответа не подыщу, и слово в горле путается. На тетю взгляну мельком — та самолюбием за меня сгорает. А мамынька за перегородкой хлопочет — угощенье готовит. А жених сидит наискосок от меня, тоже молчит, улыбается да избу оглядывает. Вот, думаю, не смотрины, а поминки, и всему я виною, — застыдила всех… Тетя выручила. «Слышали мы, Сергей Федорыч, что ты мастер хороший по сапожному делу», — обратилась она к жениху. Тот засмеялся: «Какой такой мастер. Это больше форсуны обо мне распускают… А если бы не форс, так я, пожалуй, и сапожничать бы бросил».

Арина Игнатьевна впилась в сына глазами, ожидая от него неудобного какого слова, но сын, казалось, не замечал этого.

«Видишь ли, тетушка, — продолжал он, — для меня в работе огонек должен быть, чтоб от работы самому легко и другим хорошо стало. Вот ссыпка, например, — в ссыпке это есть… — Он заметил на себе грозный взгляд матери, остановился, сделал шутливое, виноватое лицо: — Мамаша, аль не в точку попал?» Это было так просто и со смешной искренностью сказано, что все, и я с ними, засмеялись, и сразу стало легко и весело в избе. И стыд мой пропал на жениха посмотреть. Он был в рубахе с вышитым воротом и в пиджаке. Лицо открытое, простое, с улыбкой…

Вот так и примирилась я с судьбой моей. Любят весну за красоту, лето — за богатство…

Когда они ушли, тетя меня и спрашивает: поняла ли я парня. Поняла, говорю, тетя. «Пойдешь за него?» Я отвечаю: «Это уж как вы с маменькой решите, так и сделаю». «Дура, — обрезала

тетя, — значит, ничего не поняла. А все-таки мой совет — идти тебе, Аненка, за него замуж…»

Едем мы с отцом на Красулинку на знаменитом по Хлыновску коне нашем Сером, хоть не о нем речь, но удивительно подлая была лошадь — столько здоровья унесла она у нашей семьи за один только год. Сколько корили мы с отцом друг друга, что купили этого огромного яблоневого мерина на Воздвиженской ярмарке. Я корил отца, что он за прочность выбрал этакого зверя, а отец меня, — что я на красоте масти влопался. Как бы то ни было, страдал больше от издевательства этой клячи над людьми мой бедный отец, как прямой начальник над лошадью. Запрягался Серый хорошо, но, как только в экипаж садились, он поворачивал голову к усевшимся и с нахальным выражением рассматривал их: «Уселись, мол, голубчики, ну и посидите, а ехать мне что-то не хочется». Удар кнута — и Серый с повернутой головой начинал пятить экипаж назад, через весь двор в излюбленный угол сарая… Ни ласки, ни уговоры не помогали. Мать, зная нрав животных, изобрела способ нести перед мордой лошади каравай хлеба, чтоб выманить ее с повозкой и едущими на улицу. Здесь Серому давали хлеб, и, покуда ему этой жвачки хватало, — он вез. Но этой уловке он поддавался только из рук матери, на все остальные куски в руках других он просто отфыркивался.

Пришлось за бесценок продать это чудовище. О Сером я здесь распространился только потому, что мы в описываемый момент на нем ехали с отцом, а впереди нас ехал попутчик, и мы знали, что Серый от лошади не отстанет, потому мы были в хорошем настроении.

— Папа, что же ты мне не расскажешь, как ты за маму сватался?

— Эх, хватился, сыночек, — эта быль быльем поросла. Умирать пора, родной мой…

— Что это ты, старина? Вот не ожидал я, что и ты умеешь нюни распускать.

Отец засмеялся.

— Перед тобой-то, перед одним моим, чать, можно разок и без пляса пройтись… Сила, брат, покидает, о себе думать начал… От других добра себе захотелось… Да.

Старик помолчал. Потом заулыбался снова.

— А все ж таки и помирать надо смеючись — ведь не бросит же меня Бог наедине после смерти моей — народ-то, чать, и там будет… А сватовство мое к матери было самое простое… Бабы там возле него манеры всякие делали, а я поглядел — невеста против меня ничего плохого не имеет, так что же и мне

супротивиться — взяли да и поженились…

— Ну, ты, одер… — прикрикнул отец на лошадь, — от попутчика отстаешь… — Потом тихо мне: — Не лошадь, а оборотень, право слово, — заметь: только начни разговор душевный какой, эта колода серая сразу ход замедляет и уши назад заворачивает… Ну, ты, шпион, батюшка, ходу, ходу…

Глава пятая
ЗЕРНО, УШЕДШЕЕ С ПОЛЕЙ

Главная торговля Хлыновска была хлебная.

В городе было несколько фамилий — заправил по скупке хлеба. Это были, за малым исключением, старообрядческие, плотно сбитые семьи, с молельнями и школами при домах.

В этих школах, под руководством начетчика, молодые члены семей кончали полный курс наук: от «буки-аз-ба» до умения прочесть устав на богослужении. Этих наук им хватало, чтобы ворочать десятками тысяч пудов зерна, иметь собственный транспорт для сплава, с точностью управлять его рейсами и мыслить сложнейшей бухгалтерией копейки, делающей рубли.

Конечно, «буки-аз-ба» и умение читать устав как школа играли малую роль, но начинающаяся за ней практика, она и была настоящей школой.

С одиннадцати-двенадцати лет сынишка входил в дело отца на самое нижнее место. Здесь он начинал понимать причинную цепь торговли. Самое, казалось бы, незначительное поручение, в последовательности шестерен огромной машины, отражалось большим событием наверху, где сотнями людей двигалось зерновое богатство, реками, каналами, озерами, океанами до отдаленнейших голодающих чужеземцев. В шестнадцать лет такой юноша ходил уже приказчиком. Его женили, он обрастал бородой, тучнел и делался правой рукой отца и неотличимым от него по виду.

Старик отец как бы окаменевал в возрасте, казавшийся несломимым, но с длительным процессом жира в сердце, умирал он обычно «в одночасье»: придет неожиданная телеграмма об аварки судна, захватится ли на месте в воровстве старший приказчик, — нальется тогда кровью лицо, раздуются вены старика, откроется рот, чтоб произнести клянущее матершинство и — а-гг… — захрипит старый купец — и конец человеческой плоти… Похороны такие, каких еще город не видывал — с утра до поздней ночи питаются хлыновцы на поминках в честь умершего.

Ко времени, о котором я буду говорить, мирское, неизбежное начинало входить в жизнь этих людей, это не было еще развалом родительских обычаев — скорее это было практической, коммерческой эволюцией. Хлебные заправилы начинали посылать своих детей в губернскую гимназию и в местное четырехклассное училище.

Гимназию обычно эти жертвы цивилизации не кончали — по обоюдному соглашению отцов и детей наука обрывалась четвертым классом. Были, конечно, срывы и заскоки в этом заигрывании с просвещением, но первая порода юношества дела отцовского не бросала, образование сказывалось лишь в принятии одежды по моде, с крахмальным бельем, и они уже иронически улыбались на косоворотки, из-под жилета, навыпуск и на длиннополые кафтаны-сюртуки своих отцов. Назову несколько фамилий из главных хлебных дельцов: Узмины, Лесовы, Хазаровы, Культяповы, Махаловы, — с домом Махаловых свяжет меня судьба в течение моих переходных лет.

Перевоз зерна начинался не сразу. С большой оглядкой действовал его главный поставщик. Чует он удочки, заброшенные Махаловыми, Узмиными вокруг него, — не влопаться бы, не напороться. И вот нагрузится мужик бабьим продуктом, картошкой или капустой, приедет в базарный день в город и встанет, как ни в чем не бывало, на Нижней площади. Начнет прислушиваться, расспрашивать о ценах, большой ли привоз и «как в Расее воопче уродилось», с большим ли ражем рыщут по базару хлебные приказчики.

Вызнает, что надо, капустишку продаст и пристегнет лошаденку, чтоб поскорее известие домой доставить.

В деревне сход, обсуждение добытых сведений и решение — везти ли на Миколу зимнего или раньше.

В особых случаях, когда до зарезу денег надо — сына забреют или дочь на просватах, — привезет мужик первый воз окрещенной пшеницы. Скупщик подскочит, что ястреб. Хватит зерно на пригоршню и сейчас же сбросит.

Начинается спор, перебранка — спуск и подъем цены по копейке — неизбежная, при неустановившейся цене, картина торга.

— Ну, так и быть, — бросает скупщик, — курам стравить возьму. Вези прямо на дом. — И запомнит покупатель все приметы покупки первого воза — быть иль не быть сезонной удаче.

Третьей группой, столь близко заинтересованной в движении с полей зерна, — были грузчики или, как у нас их зовут, ссыпщики.

У меня с детских лет осталось впечатление о налаженности и спайке, о наличии круговой поруки и сговора ссылочных артелей.

Бывали минуты, вгонявшие в панику хлебозаготовителей и в растерянность мерзнувших возле зерна мужиков и приводившие в боевое, как перед чужой дракой, настроение обывателей, распадавшихся симпатиями на три фронта.

— Ссыпщик забортовал…

Это известие возбуждало всех. Мужик, въезжая в город, услышав эту весть, — чесал затылок.

Хлебник поперхивался стаканом чая на купеческой половине гостиницы Красотихи, что при Волге. Плохо еще разбираясь в то время в людских социальных взаимоотношениях, я пережил с волнением и запомнил одно из таких событий Хлыновска.

Дело произошло в разгар скупки и ссыпки.

Иван Узмин прорезался в цене: передал за белотурку по копейке на пуд. Зерно потекло в его амбары. Приемная работа поднялась до кипения. Пудовки мелькали, как ласточки, взвивались до верхнего сусека амбара и с бульканьем железа возвращались обратно к возу.

Конкуренты Узмина выходили из себя, крепились, нейдя на прибавку, да и сам Узмин рвал на себе волосы: разнес телеграммой своего приказчика Балаковского пункта, введшего хозяина в ошибку случайным повышением цены, которая тотчас же снизилась. Возвращение на попятный Узмина могло бы поколебать авторитет фирмы. «Узмину нечем платить» — это было бы охулкой на всю жизнь.

Чем бы все это кончилось — неизвестно, если бы не вмешался второй заинтересованный.

К обеденной передышке к амбарам Узмина спешно прибежал Ульян Косой, ссыпщик из другой группы. Влетел прямо в круг и сказал:

— Ребята, мы, так раз-эдак, ошибку даем — нужна прибавка, наши порешили на полкопейке…

Решение было принято.

Полетел старший сын хозяина на легких санках к отцу.

По городу загудело…

На место происшествия прибыл исправник. Ему, конечно, трудно было в то время разобраться в наличии преступности с той или другой стороны, но он должен был прибыть на шум, так как шум всегда явление недоброе для всех видов власти.

— Братцы, что у вас здесь такое? — деланно отечески обратился он к грузчикам.

Григорий Водкин от артели дал разъяснение о копейке и полкопейке.

— Что же дальше? — спросил исправник.

— Дальше?… — Григорий и сам не знал в точности, что же дальше, но знал одно:

— Это, ваш-родие, дело наше — междоусобное… Поезжай к себе на квартиру — мы это всем миром обладим, и тебе зазора не будет…

Два дня бурлил Хлыновск.

Постоялые дворы и площади заполнялись возами.

Мужик себя чувствовал, как невеста между двумя спорящими из-за нее женихами.

Иван Узмин сам приезжал к грузчикам. Бил себя в грудь. Наконец упал на колени, покаялся в своей ошибке с надбавкой и расплакался.

Ссыпщики сочувственно вздыхали, жалостливо матюкались, но остались на своем.

Дело решил третий заинтересованный — он же и производитель первой ценности.

На нижнем базаре взобрался на воз заросший бородой, как обезьяна, крохотный мужичонко и крикнул речь:

— Мужики, хрестьяне, айда в Балаково…

Простой и такой естественный выход, как искрой, поджег толпы хлебопашцев:

— Айда в Балаково… Айда в Духовницкое… Запрягайся, мужики, айда…

Заскрипели мерзлые гужи об оглобли; занукались лошаденки; завизжали полозья, и потянулся головной обоз через Волгу и вдоль Волги — к Балакову.

От последнего решения содрогнулся весь город… Окровянилось бы зерновое дело. Это означало безработицу в городе, голод ребятишек и крах хлебной кампании для местных воротил…

Через какие-нибудь полчаса верховые и легкие сани помчались за отбывающим зерном.

Скупщики сдались и разверстали между собой ошибку Ивана Узмина. И замелькали снова черного железа пудовки по лестницам амбаров.

Весело было в городе в зерновой разгар. Крендельщики, сбитенщики снуют, перекликаясь товаром. Ларьки разбиты у самых возов с душистым, свежего помола, хлебом, с леденцами, парнушками с яблочной пастилой, с кадушечным и сотовым медом.

В других лавках весь товар налицо выставлен, и не протолкаться в лавках от покупающего люда.

Товар что надо: расписная посуда, платки бахромные с разводами, тульские самовары, сияющая от дегтя нагольная обувь, ярославские валенки в рост человеческий с хитрыми узорами…

А для ребятишек столько всякой всячины, что, бывало, дыхание сдавит от восторга. Нос мерзнет, ноги коченеют, а внутри — как в кипящем горшке.

А среди всего этого и на крышах и под ногами зобастые голуби белые, сизые розовые, у них также праздник зерна, ушедшего с полей.

Звенела медь и шуршали бумажки, переходя из-за пазух мужичьих в заприлавки…

На торгу шло большое дело.

Скупщик совал руку в глубину воза и на весу определял сорт и качество зерна. Оно янтарными бусами сверкнет на морозном солнце и сольется с руки обратно в гущу янтарей.

Объявлялась цена. Мужик получал ярлык с номером амбара. Воз трогался по адресу и становился в очередь по приемке.

Весы в то время считались излишними, хотя и находились возле приемщика, — хлеб принимался пудовкой. Приемщик делал три жеста: зачерпывал первым жестом, вторым срезывал ладонью руки излишние зерна обратно в воз и третьим, приподымая слегка на руке пудовку, произносил счет, повторявшийся громко приказчиком, и ссыпал зерно грузчику.

Покупатель мог потребовать взвески любой зачерпнутой пудовки, но эта проверка обычно вызывала только насмешки окружающих — весы всегда отмечали точную меру. И, когда недоверчивый продавец получал ярлык, например, на двадцать восемь проданных пудов пшеницы, принимавший бросал вопрос:

— Сколько сам считал? Мужик, осклабившись, отвечал:

— Так что двадцать шесть с четью… — Его подымали на смех:

— Хороша твоя мера, чать сарафаном бабы мерил.

Мужик и сам с приятностью смеялся над собой.

Точность веса на глаз и ощупь — в этом честь профессионала-приемщика, и такие специалисты очень ценились, с другой стороны, и честь купца. Ну-ка, разнесись базаром: «Махалов обвешивает», — это было бы позором до провала дела.

Между прочим, приемщики обладали удивительным мускульным ощущением тяжести. Приходил такой мастер на базар покупать хотя бы мясо. Брал кусок на руку и сообщал мяснику: «девять фунтов и три восьмых». Молодые мясники, больше от удивления, проверяли вес — вес был точен всегда.

Когда зерно попадало грузчикам, с ним происходила новая удаль, игра со взлетавшими к верхнему люку железными пудовыми мерами: они непрерывной цепью достигали до назначения и, как подстреленные птицы, падали обратно, руки людей как бы не касались их.

Пудовка с зерном, вздернутая пятерней правой руки кверху, получала пальцами круговое движение. Ладонью левой руки ей давался боковой лижущий жест, и так она передавалась выше и

выше, принимающему приходилось делать пустяковую затрату сил, чтобы пудовка продолжала данное ей движение и взлет.

Работа сопровождалась ритмующей движение песней:

по овражку,
д-по долинке
шла девчонка
д-по малинке…

Амбар, казалось, раздувался своей утробой — вот затрещат скрепы кругляшей бревен. Янтарное зерно заполняло доверху закрома амбара. Здесь оно будет ждать дальнейшего движения.

Опасный для жизни омут представляет собой приведенное в неестественное скопление зерно.

Умная крыса, чтоб поживиться им, точит дерево закрома снизу, зная опасность засоса.

Требуется большая осторожность от проходящего по перекладам верхнего яруса над хлебным колодцем. Сорвавшемуся в него нет возможности из него выбраться. Никакое движение не способствует хотя бы остановке на одном уровне, наоборот, чем резче жестикуляция, тем быстрее засасывает жертву ко дну.

Говорят, упавшему в зерно надо окаменеть, чтобы ни один мускул его не шевельнулся — это замедляет расщепление зерна и дает возможность близко случившимся товарищам помочь утопающему доской, шестом или веревкой.

Отец рассказывал мне о такой смерти, случившейся с его молодым приятелем.

После погрузки ссыпщики покидали амбар. Юноша шел последним, шагах в десяти от впереди идущего.

Раздавшийся крик оступившегося на перекладе сейчас же вернул уходивших товарищей, но… на поверхности виднелись только руки и скрывающаяся волосами голова… Пришлось открыть нижний люк амбара. Сюда, к этому отверстию, и вытянуло струей хлеба задушенного и сдавленного до неузнаваемости несчастного юношу.

— Видно, умереть по-всячески можно, — закончил отец о смерти друга. — А все-таки, сдается мне, сам человек виновен: в неправильное положение природу ставит, скоп большой допускает всякой земной силе, — ну, она его и хлопает… По мне быть, она ой как еще хлопнет нашего брата — земного человека…

Глава шестая
НАЧАЛО СЕМЬИ

Вот что мне удалось написать по разновременным и отрывочным рассказам отца и матери об этом времени.

В субботу перед Масленой неделей Сережа Водкин затемно вернулся домой. Он был сильно во хмелю; это с ним случилось первый раз за женитьбу. Из-за пазухи его овчинника торчали бахромы персидского платка. В обнимку он держал расписной поставец. Карманы шубенки оттопыривались от содержимого в них.

Он перебрался через калитку. Во дворе стояли двое саней, оглобли которых долго путались под ногами Сережи. Лошади шуршали сеном под навесом сарайчика.

«Двор-то свой ли?…» Осмотрелся; перед ним оконце келейки, с правой руки лачуга Андрея Кондратыча. Свой двор, без сомнения, если бы не оглобли…

В келейке малый светик.

Пятник сегодня, то бишь — субботница… Лампадка горит, — бормотал Сергей Федорыч и корявым пальцем деликатно постучал в оконце. Анена сейчас же открыла мужу. Сережа с порога запел октавой до фальцета:

Зажигайте огни,
Кипятите котлы…

Жена зажгла крошечную лампу. Келейка просветлела. Потянулись тени полом, стеной и сломались на потолке. Запахло вином.

Сережа стоял у порога с подношениями, пригнув голову от низкой матицы.

— Мое нижайшее! Да что ты, Аненка, словно уперлась об меня… Пьяный, что ль? Не верь глазам — я тебе по всем половицам пройдусь, не качнувшись… — сказал он и наклонился, чтоб поцеловать жену.

— Ой, как от тебя вином разит!

— Что с ним поделаешь. Вино из хлеба силу набирает, — его не утаишь в глотке… Да… Ты на вот, держи. — И Сережа стал вытягивать из-за пазухи огромный платок.

В избушке заискрилось: цветы, узоры заговорили, заласкались и к людям, и к стенам.

Анена, как зачарованная, смотрела на выпадающую на пол, к ее ногам, волшебную ткань, она сжала на груди руки, с вытянутым лицом не могла оторваться от цветной шали.

Сережа, довольный успехом подарка, улыбался на жену, на ее восторг.

— Хорош подарок?…

— Так ли я была б довольна, коли не пил ты… Все это время… Видала по тебе, как ты крепился… И вот этого, как огня, боялась…

— Сегодня кончили работу… Засяду за верстак и — будет. Как вижу я, всего вина не перепить… Держи кубышку с медом душистым… А карманы сам разгружу…

Анена поставила мед и занялась свертыванием драгоценной шали. Сережа очищал карманы от пряников, орехов и конфет.

— Дорого как, верно, это стоит, — укладывая платок в сундук, сказала жена.

— Не дороже вот этой штуки, — сказал муж, вынимая из внутреннего кармана мятые бумажки, серебро и медь. — А если выпивши я, так это с устали, лопни глаза, с устали.

Пьет мужик от устали, да от сердца… А мое сердце довольно, Аненка, — и он, большой, неуклюжий, обнял маленькую голову жены и поцеловал звонко, с причмоком.

— Батюшки, что же это я тебе поесть не даю… — засуетилась жена.

— Не надо, — отмахнулся Сережа, — севрюжину с картошкой ели. Ты вот помоги разонучить ноги… Ноют ноги…

Анена разула лапти мужу.

От тепла Сережа сильнее захмелел.

— Я, да для жены моей собственной, хоть столько пожалею? Да чтоб, лопни глаза… Подожди, такое я тебе предоставлю, — заикаясь, сказал муж, пытаясь щелкнуть пальцами.

— Предоставил уже, муженек, — сказала Анена и громко по-девичьи засмеялась… Смех перешел в слезы, смешался с ними и перешел в рыданье.

Муж недоумевающе уставился на жену.

— Анена, слышь, Анена… Что с тобой? — трезвея, бормотал Сережа, прижимая к себе плачущую.

— Ничего, ничего, это я так… — сквозь всхлипы заговорила Анена. — От обеда самого деваться куда не знала… К тебе бежать хотела, чтоб рассказать… тебе рассказать…

— Да что случилось? Обидел кто? — взгрубив голос, спросил муж, освобождаясь от жены и приподнимаясь как бы на защиту.

— Забеременела я, — розовея лицом, сказала Анена. Сережа, не в силах перевести сразу мысль на новое положение, сделал

жест к животу жены:

— Забрюхатила, что ль?

Сделав два шага к двери и обратно, он опустился у ног жены и заулыбался.

— Ну вот, ну и хорошо, никому убытку нет и реветь не к чему… А кто в брюхе-то?

Анена кокетливо тронула щетинистую голову мужа.

— Глупый, чтоб наверное, так об этом до конца не узнаешь…

Молодые супруги надолго засиделись. На каждое предположение Анена без умолку фантазировала о будущем.

— Я думаю, что у меня будет мальчик — так и тетка Февронья сказала, когда живот мой смотрела…

— Покажи живот, Анена.

Молодая женщина выпрямилась. На сарафане по очертаниям живота ничего не было заметно, но Анена поводила рукой мужа по животу, и оба нащупали чуть ли не головку младенца.

— Тошнит меня часто — это тоже при мальчике, говорят, бывает…

— Вот-те, лопни глаза, тверезый стал будто. Да и словно у самого в брюхе завозилось. Теперь уснуть надо, женка, чтоб обдумать крепче, — подымаясь с пола, сказал муж. Он бросил на пол возле кровати шубенку и одну из подушек.

— На полу я… А то еще повернешься чего не так… ему бы не повредить, да и протянуться хочется.

Кровать, упиравшаяся в печку и стену, рассчитанная наросты Трофимовых, длинной была только для Анены, Сережа обычно подымал ноги на печь, либо складывался калачом, чтоб уместиться на кровати. Свет погасили. Супруги улеглись. Но сон пришел не скоро. Муж и жена долго еще переговаривались о волновавшем их событии. Наконец, перед засыпанием Сережа спросил жену:

— Кто это взъехал к нам, — оглобель полный двор? Ершовские, что ль?

— Шиловские, — отвечала Анена. — Дядя Родион с Рушей. Нарочно и ночевку сделали, чтоб нас с тобой в деревню взять — на показ родне…

— Ладно, едем, Анена.

В Крестовоздвиженской ударили к заутрени, когда храп спящего Сережи сотряс келейку от пола до крыши. Возвращавшийся с караула Андрей Кондратыч, открывая винтовым ключом дверь своей лачужки, приостановился прислушаться и сказал себе:

— Эх, знатно спит Сергей Федорыч…

Родион Антоныч, младший из братьев бабушки Федосьи, и

его сын Руша были из деревни Шиловки (Дыркино тож), находящейся верстах в сорока от Хлыновска по саратовскому большаку. Шиловка залегла в углублении, получившемся от скатов волжских береговых кряжей и западной материковой возвышенности, от Хлыновска Любкиным перевалом и с юга Широким Бугром. Шиловка хорошо была видна с Любкиного перевала: как будто взяли за четыре угла полог и стряхнули на дно его домишки, деревянную часовенку, сараи и гумны.

Свернув с большака, долго приходится крутиться зигзагами, не видя и признака деревни, покуда не столкнешься носом лошади со строениями.

По краю Шиловки, с выходящими к ней банями, значилась речка. «Мышь перебежит ее — брюхо не намочит», — говорили сами обладатели этой болотистой мочежины.

— Зачем так? — возражали патриоты-оптимисты. — Речку нашу мельницами да плотинами разворовали… Ведь она от Новозыбкова самого начало свое имеет — вот что. Ее только уладить надлежит — она, матушка, воду даст.

Несчастьем была для шиловцев эта воображаемая речонка. Чего только они с ней не проделывали. И прудили, и дно ей углубляли — «матушка», кроме мокроты, ничем не жаловала деревню.

— Эх, мужики, мужики, — говорил местный балагур Макар Дошлый, — истерзали бедную речонку. А на что сил положили — могли бы каналу прокопать напрямик с Волги. То ли б было дело. У Родивона Антоныча на крыльце пароходы бы причаливали (дедушка был одним из старателей о воде)…

С водой для больших потребностей очень мучилась деревня. В колодцах вода была солонцеватая, жесткая. Один родник, выбивавший в верховье Шиловки, имел хорошую воду, но был такой малосильный, что уткам и тем не хватало вытека, чтоб в жижице носом поцарапать.

На северном склоне, на месте бывшей когда-то усадьбы помещика, виднелся оставшийся от давнего пожара расшатанный по углам четырехоконный флигель «для приезжающих».

Этим «приезжающим» и был теперь потомок того счастливого игрока в карты, выигравшего моих родителей в Туле. Потомок служил в земстве. Был человек средний, тихий, в городе его уважали за несовкость выше других. Мужики про него говорили:

— Михаил Иванович наш, как быть лучше не надо, — безвредный до хрестьянства…

Шиловцы, за небольшим исключением, были между собой либо в родстве, либо в свойстве. Жили плотно и дружно.

Но не без урода в семье.

Одним из таких трудных людей был для деревенской общины Васька Носов. Несчастный по внешности мужик — в драке ему проломили нос, и неудачник по жизни: завистливый, склочный, сваливавший на мир все свои неудачи, происходящие по собственной лени. Через него орудовали конокрады в его же деревне.

Была в Шиловке и своя знахарка, бабка Параня, и свой юродивый, Емельян-пуп.

Второго названия — Дыркино — шиловцы не любили.

— Ну, и что вы, мужики, в дыре такой уселись, — скажет, бывало, захожий коновал либо торговец-меняла. — Подвинулись хоть бы к Волге — вон там простора сколько!

Шиловцы улыбались, себе на уме.

— Да уж куда уж. Проживем, Господь не обидит, и в дырке…

Дед Родион говорил, бывало, мне:

— Охулки этой сколько чужой народ на наше жилье делает, а того не подумает: хлеб-от разве на улице родится? Да и много ли мужику в жилье прохлаждаться приходится? А спросил бы какой чудак: что-де за деревней у вас, мужики?

А за деревней было хорошее. Четыресклонность полей по странам света допускала всевозможные капризы погоды любого лета, и, кажется, не было случая, — будь то засушное или дождливое лето, чтоб хоть один из склонов полей не дал урожая.

Затем и самая почва, образовавшаяся от перегноя древнего леса, была особенно хорошей.

Остатки этого леса сохранились на верхней части западного склона. Лес состоял главным образом из дуба и березы и случайно разбросанных сосен. Этот лес был заповедным и ненаглядным детищем шиловцев. Сколько хищников за ним охотилось и сколько требовалось вразумления со стороны более рассудительных мужиков, чтоб унять жадность лентяев, зарящихся на продажу леса, звучащую десятками тысяч рублей.

— Вы лес-то для гулянок храните? Собаки вы на сене и больше ничего, — говорил стряпчий, желая обделать шиловца.

— Для-че гулянки? Это мы в трахтире гулянки-то… — И мужик начинал неумело, неуклюже разъяснять значение ихнего леса, покуда его не подымали на смех.

Мужик обозлевался, сплевывал:

— Жеребцы вы, жеребцы и есть, — и уходил из конторы. За полдником сидели мы на поле с дедушкой Родионом.

Он говорит;

— Смотри ты, Кузярка, на лесок наш: вишь, туча ползет к нему из гнилого угла («гнилой угол» у нас запад — приносящий дождь), — да-к будь покоен — не проскочить ей, туче-то. Он ее

как гребнем задерет, а сухой не выпустит, вот что. Иной раз мы на деревне капельки не увидим — все лес выпьет. А нам хоть бы что, страху нам никакого: росы каждую ночь, и колос нежный, неломкий, и налив неспешный, ровный. Это, видишь ли, еще отцы заприметили за лесом нашим. Для завистников да недоумщиков небылица всякая: дыркинцы, мол, водяной лес наговором держат — на голой бабе сохой опахивают, а того не вздумают, что быль всяких небылиц страшнее — вот что.

С детства меня удивляла способность мужиков ощущать до любых делений участки суточного времени и соразмерение их с пространством и собственным движением. Это ощущение менялось с временами года и оставалось безошибочным.

— Вставай, — будит меня Родион Антоныч, — самый раз: как выберемся на Любкин изволок, и солнце покажется.

И я знал, что с изволока, на востоке, за Волгой в расщелину степей и неба покажется краешек солнца. Или, проснувшись ночью, скажет дед:

— Опоздал наш дурень. Ему бы в самый раз третье горло драть надо. — И тут же со двора, спешно, спросонок загорланит запоздавший петух.

Зори, туманы, свойства облаков, узоры замерзшего окна, вид растопляемой печи, подъем теста, все эти бесконечного разнообразия явления говорили мужику на точном физическом языке о больших и малых наступающих событиях в природе.

— Ой, мужик, — причесываясь, говорит жена, — волос не чешется. Сено бы успеть закопнить — дождик будет.

Дед говорил:

— Это в городе только дивятся этому. Повесят на брюхо аль на стену тикалку часовую, да окромя ее ничего и не слышат, что на свете делается, а рабочему человеку тикалка только помеха — поверит он ей, и уши завянут, а та его в эти самые уши и треснет — вот что.

Масленая неделя для молодых супругов пролетела незаметно. Сережа первый раз в жизни попал в деревню, но сейчас же с ней освоился, и деревня почувствовала к нему симпатию. Парни первый день еще присматривались к городскому человеку, ну, а к вечеру второго дня, когда Сергей Федорыч взялся сам за гармонику и пустился под «Камаринскую» в пляс, так не только молодые, но и старики заахали на доброго весельчака парня, а дед Родион затолкался руками и ногами, вспоминая былую удаль, вообразил себя пляшущим.

Родион Антоныч улучил как-то Анену без мужа, сказал ей:

— Хороший парень муж твой. Простого сердца парень. Ты и сама попроще с ним будь. У вас по трофимовской линии

недогляды до человека имеются, а ты начисто вглядывайся… Ядрышко у каждого имеется, и Сергей не без него — так вот не наскакивай на ядро — вот что.

Масленая неделя проходила как один день в другой. Те же лица в разных избах и обстановках.

С утра аршинные стопы блинов, залитые коровьим маслом, сметаной, кислым молоком. Потом хождение по родне с остановкой на улицах. К вечеру катание с гор и опять блины, брага.

Все это однообразие с разговорами, пересудами, вздохами, все это, казалось бы, пустое, незначительное было насыщено деликатной внимательностью и теплотой, никаких экивоков и задних мыслей не несли с собой эти люди. Анена млела в этой атмосфере и самолюбиво следила за мужем: не иного ли он мнения об окружающем.

На одном из последних пиршеств разыгралось деревенское событие, несколько омрачившее общий ход праздников. В одной из очередных изб с гостями за общим столом случился Василий Носов.

Сильно хмельной, он без конца и навязчиво излагал свои жалобы на несчастья, на мирскую несправедливость. Он сидел против Сережи и обращался к нему:

— Вот ты, слышь, — с пригнусом говорил Носов, — на меня мир нападает, а мне-то что делать? Будь у меня как у всех, живи мир вровень со мной — чего бы мне до мира тягаться, — за милу душу с миром бы шел… Плевать мне тогда за милу душу… Ты вот, слышь, суди: полосу рядом с Петрухой сеял и зерна в одночасье бросал, — а у Петрухи хлеб, а у Васьки, на — выкуси.

— А ты коли на борозду являлся, мил-человек? — крикнул Петруха. — Солнце-то во-н где оно, а ты еще морду об лукошко продираешь… Куда уж, пахарь-хахаль…

Сосед наклонился к Носову:

— Тебе, Василь, другим бы чем заняться: в городе всякие должности есть — тебе бы главным помощником к младшему лодырю… — гости захохотали.

Носов разнюнился и бил себя в грудь, перекрикивая смех:

— А что ж, по-вашему, не должен был Петруха помочь мне? — потом он расхорохорился.

— А это правильно, — у вас дети как дети, а мой пащенок уж отца колотит. У вас, рас-туды вас туды, носы во как торчат, — а мой нос в голову ушел, это правильно?

Разъярившись, Носов вскочил.

— Петуха вам, сукины дети, пустить всем… Мужики съежились.

Мать, много позже вспоминая этот эпизод, упоминала об отце: — Я его за обе руки ухватила под столешником, — вот-вот сорвется… На лбу жилы вздулись… Брови как копья… Богородицу читаю, чтоб Сережу-то пронесло мимо скандала.

В это время в избу протолкался черный всклокоченный мужик. Он дошел до Носова, встал в упор перед ним и заговорил сурово:

— Васька, на миру тебе говорю: верни мою Буланку. У Носова хмель соскочил.

— Знать не знаю твоей Буланки… Разрази на месте. Чтоб света не взвидеть…

Черный осадил Носова рукой о плечо и вынул из-за пазухи недоуздок.

— Чей это, стервец? — грозно спросил мужик. Носов завертелся под рукой.

— У тебя на поветях саморучно нашел недоуздок. — Мужик снизил голос: — Слушай, Носов, верни лошадь. На дворе праздники, не успел, чать, далеко увести? Ну, а не вернешь, — пред всеми говорю, — на этом ремне тебя повешу, гадина. Никакими петухами не запугаешь… У ворот твоих, сволочь, спать буду, ходу не дам, а убью…

Васька заревел по-бабьи. Всем стало не по себе от рева конокрада.

В это время к Носову обратился старик Парфен, добрейший дед Парфен на всю Шиловку. Он потрогал по голове конокрада и заговорил отечески:

— Слухай, Василь… Все грешны, чего тут… А ты, милой, раскинь правду — вот тебе и прощеное Христово воскресение будет… Свои, милой, здесь, — простят.

Носов сопел, всхлипывал, потом поднял уродливое лицо и неожиданно заговорил спокойно:

— Ну вот что, для деда Парфена скажу: знаю, где лошадь. Митрий Михалыч, — обратился он к хозяину лошади, — езжай в Широкий Буерак… В лесу там, налево от первой просеки в ложбине, у зимовья, где деготь гнали, — там найдешь… Не я крал, а дорогу делал, разрази на месте…

Он встал, опять пьянея.

— А теперь положите меня на печку… Голову ломит… Эту деревенскую драму мать приводила как одно из переволновавших ее событий во время беременности…

Проводы покрыли все.

Можно сказать, вся Шиловка — и Васька снова трепался здесь — с песнями и пляскою провожала городских гостей чуть не до Любкиного перевала. Здесь и прощание, и поцелуи, и махание

отъезжающим, покуда розвальни с Сережей и Аненой не скрылись за изволоком.

— Хороший народ они все, — говорил Анене муж. — Прямо лучше некуда. Работники — золото, — ты заметь, и с нами валандались, и дело не бросали… Да. А вот поди ты, темнота какая. Словно бы обреченные… Тут я чего-то понять ие могу Потом с гнусарем этим Таким манером дела не замажешь — в артели такого не должно случаться… Помяни слово, безносого этого еще и мы встретим, он через Шиловку раздуется… — Отец помолчал. — А народ хороший — и родня твоя и другие тоже.

Глава седьмая
РОЖДЕНИЕ

В избушках под одной крышей жили интересами будущего человечка, зреющего в животе Анены.

Старухи заняты были приданым. Февронья Трофимовна развернула весь свой талант в хитрых вышивках, которыми она украшала наволочки, нагрудники и чепчики. Федосья Антоньевна занималась пеленками, свивальниками и вязала теплое одеяльце.

Дядя Ваня, приходя со службы, ухищрялся над точкою и выделкой колыбели, впрочем, его секрет был не полным, в эту работу был посвящен Андрей Кондратыч, в его задачу входила роспись колыбели.

Старик синим и красным карандашом на бумаге придумывал узоры, бегал с рисунком в сарайчик — прикидывал, примерял, советовался с дядей Ваней и снова у стола в своей лачужке чертил, менял сделанное.

Вспоминаю теперь людей, окружавших мое детство: Андрей Кондратыч запомнился мне как один из самых живых людей.

На рассвете, зимой и летом, возвращался он с караула со своими «палочками-смекалочками» из «аряй-маряйного дерева». Эти палочки были действительно замечательны, может быть, и вправду говорил о них Андрей Кондратыч:

— Годик сушены, да годик струганы, да годик глажены. Только на ощупь они уже давали ощущение драгоценного плотного дерева. Древесный фибр разбегался по ним в орнаментальной закономерности. Позднее я мог найти сходство и сравнение этих жизнью обработанных струек дерева с подобными на деках старинных скрипок. В висячем положении палки давали вибрирующий звук, средний между звоном и пением на грудных нотах. Тональности длинной и короткой палок были сгармонированы. Короткая была толще длинной. Изменение мелодийности достигалось положением палок в руках по их длиннотам.

С младенческих неспокойных снов, вероятно, запомнилась мне музыка этих палок.

Завозишься в колыбели… На просвете темнеют кресты оконных переплетов. Полог колыбели мертвым предметом навис над головой, и уже к горлу подступает — реветь, реветь надо… В этот момент ударит Кондратыч палочками-смекалочками — и кончены все страхи, мой аппарат зацепился за жизнь и звучал с ней в унисон…

— Сон-то у нас, соседушки, сладкий от Кондратычева стуканья, — говорили в околотке.

Когда случалось несчастье, Андрей Кондратыч не бегал, не кричал, не торкался к спящим, как это делали другие караульщики, а его палки срывались с их звуковой ласковости и грозно начинали чеканить опасность, — и сразу на улицу высыпали люди.

На пожар, на грабеж, даже на набеги волков у него были особые сигналы, звуки и ритмы.

— Для волков это собакам возвещаю, — тут музыка небольшая, — объяснял он нам.

Сидим, бывало, после ужина у ворот. Андрей Кондратыч с нами — ему еще рано службу справлять.

Сыграй да сыграй волчью — пристанем мы, малыши, к нему. И вот он тихо, тихо начнет волчью музыку чоками палок. И тотчас же во дворах начнут подвывать собаки одна за одной и выходить из подворотен, поджав хвосты и ощерив морды.

Чистота в избушке Андрея Кондратыча была всегда праздничной. Стол, лавка у стены блестели, как натертые воском. Половицы словно только что выструганы. Половичок дерюжный вел к столу, к божнице и направо к широкой, в две доски, скамейке, служившей кроватью.

Никто не знал, когда спал Андрей Кондратыч.

С рассветом воротится из караула, а с раннего утра уже печка трещит в избушке, а он сам перед ней то плетет корзины, то белье стирает, то рубаху себе шьет, то чулки вяжет под валенок.

После обеда посуда убиралась на полку за занавеску, и хозяин принимался за свое любимое: из киота вынимались цветные составы собственной изготовки, гусиные перья и бумага.

— Это я как бы себя в порядок собираю баловством этим. Тут и сон и явь, землей хожу, водою вплавь… Небесами лечу, а голову не сверчу… Чего не повидаю, чего не разузнаю, — говорил Андрей Кондратыч, как обычно, прибаутками о своем занятии.

Расскажу для примера об одной из его композиций. Корабль, оснащенный на все мачты, плывет морем. Пена волн доплескивает до бортов. Это океан — море Египетское. Далеко по горизонту земля цветущая, ходят по ней люди индейские. Туда корабль путь держит, да путь труден. Корабельщики толкутся, снуют по палубе… И вот из глубины морской, разрезав волну, выскакивает фараон-рыба, голова девья, и впивается в несчастное судно. И спрашивает хищница: «Когда, корабельщики, конец света наступит? Ой, измучилась я, фараон-рыба, ожидаючи!»

На все ответы, кроме одного, следует гибель судна. Надо ответить: вчера. И тогда рыба всплеснет хвостом, взвоет

страшным голосом и нырнет в воду…

Первая для меня встреча с чистым народным стилем в графическом выражении была на этих рисунках Андрея Кондратыча, этого несомненного художника народных толщ с их эпичностью, юмором, провидчеством и положительным приниманием жизни.

Чудесность, с которой выливались на бумагу изображения людей, зверей, цветов, земли и воды, была для меня удивительной, но что делало в моих глазах волшебником этого мастера, так это извлечение из чернил и бумаги образов, ни в какой мере в них не заложенных. Меня поразила тайна претворяемого материала.

Дядя Ваня просил Андрея Кондратыча, чтоб только не страшное что-нибудь было изображено на моей колыбели. Кондратыч это понимал не хуже дяди и расписал колыбель одним «небесным колером», развернув его во всех нюансах. — Цветики небесные, которыми земля держится и не колеблется. — Ни одного предметного названия не было в росписи, — только разумнейшее чередование цветовых элементов и их ритмика.

Как в солнечном свете, над полем песнь жаворонка — с этим я мог сравнить впоследствии цветную мою колыбель-Жизнь по чужим углам растеряла все драгоценности моего младенчества.

В этой колыбели будут выращиваться младенцы самого дяди Вани. Тетка будет золой счищать ее же руками захватанную роспись. Потом она будет беспризорной валяться на чердаке, и, когда, как молния, вспыхнет для меня ее художественное значение и необходимость уберечь ее, — в это самое время колыбель будет сожжена теткой, вздумавшей почистить чердак избушки.

Лето тысяча восемьсот семьдесят восьмого года было дождливое. Едва справились с хлебом, свозив его снопами на гумна и отложив молотьбу.

Дожди шли до самого Успенья.

Несмотря на мокреть, это лето ознаменовалось большим пожаром в Маячной части. Среди прочих зданий сгорела с основания городка существовавшая церковь Николая Чудотворца, патрона Хлыновска.

Пожар начался в ночь под Успенье.

Сережа и Анена только что вернулись из бани, как в быстро открывшуюся калитку просунулась голова соседки и бросила весть о пожаре.

Вся сторона северного небосклона была багрово-красная. Люди ахали и причитали.

По дворам кое-где громыхали, запрягали лошадей хозяева,

имеющие бочки. Скоро затопали и затренькали удаляющиеся на помощь.

Набат не переставал теребить ночь. На севере все грознее зажигалось небо, обозначались уже отдаленные вихри огня и взвивающиеся головни.

Поднялась буря, обычная при большом огне, но эта буря, перешедшая к утру в ураган, оказалась независимой от пожара. Горящие головни уносило ураганом за Волгу. В тридцати верстах находили обожженные бумажные свертки с этого пожарища.

В церкви погибли в огне многие ценные документы, относящиеся к истории Хлыновска и его граждан.

К счастью, ветер был юго-западный. Вообще в моменты таких бедствий хлыновцы и им подобные делаются совершенно беспомощными, и, конечно, все дело в счастье. Маячная часть прибрежная, гори не гори при этом ветре — огонь гонит на Волгу, сгорит последняя цепь лачужек — и огню зарез, дела ему больше нет, или прыгай на остров, чтоб лизнуть кое-где осенней ветоши.

Пожар этот наделал беды и на Волге — загорелось несколько барж, рискнувших пробраться с буксирами мимо пылающего города. Движение по Воложке было приостановлено, а пароходы проходили Коренной, не заходя в Хлыновск.

Странно, этот пожар словно был сигналом к перемене погоды — дожди прекратились. Погорельцы с общественной и государственной помощью в суше и тепле могли заняться восстановлением лачужек к зиме.

Осень развернулась великолепная по своей цветистости.

Наши места, благодаря разнообразию лесных пород и дружной осени, обычно останавливают внимание проезжающих цветами пурпура и золота, но в этот год расцветка леса сводила с ума даже самих хлыновцев.

Допуская возможность бескорыстной эстетики в хлыновцах, мне думается также, что не последней причиной в их восторгах от осени было — отсутствие грибов, что и позволило им заприметить листву лимонно-кровавых кленов, это во-первых, а во-вторых, возвращаясь из леса с пустыми лукошками, из которых для вида непустоты торчали хвостики осенних листьев, чтоб скрыть свою неловкость перед встречными, он или она и начинали, очевидно, в этот момент сплетать восторги красоте осени — встречный сам пережил вчера на себе подобное — поддакивал, преувеличивал, отсюда и могла возникнуть легенда о сведении с ума хлыновцев на почве осенних красот…

В октябре начались ветры и бури.

Стряхнуло и размело последние листья дуба. Крутило голыми сучьями, сшибая уцелевшие гнезда.

Волга мутная, как в стальной броне, чешуила волнами, бросалась пеной, срывала барки с канатов.

Рваные тучи летели над водой, взбирались по отложью и окутывали меловые вершины и лес.

В эти переходные дни как-то ни то ни се в жизни. По времени быть бы снегу, морозу, а на дворе туман бездождный. Земля под колесами, как каша, расступается. Дров мужики навозили от вешней дележки, хвастливо уложили вдоль домов стволы подельного леса дубов и березы.

Ухетовали на зиму крыши сараев, затеплили конюшни, засыпали банные завалинки — и хоть в рыболовы-охотники поступай — такое безделье и безвременье…

Бабы — тех никакая погода не уймет, всегда дело найдут: насолили, намочили огурцов, капусты, яблок и опять по лесу разбрелись. Хватают там, что под руку попадется: рябину, калину, сушняк и поздно к вечеру, нагруженные, как лошаденки, со вздернутыми подолишками несут, подрыгивая плечами, к очагам своим домашнюю всяческую пригодность.

Об этих днях говорил один мужик другому:

— Обошел весь двор… Посидел на лавочке… Вдоль порядка прошелся, забор прощупал… и — просто деть себя не знаю куда… тучи, ветер… Скушно, хоть в петлю залезай… Пойду спать — думаю… Вхожу это я в избу — к себе, значит, — на столе лампа горит, а под этой лампой мальчонко мой сидит, уперся в книжку и рубит на всю избу, как по-настоящему:

Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца!

Мать это его в школу прошлым годом свела. Вот, думаю, занятие делает парнишка и слушать есть что — и так во мне отлегла сразу сердечность всякая…

С этого осенне-зимнего межвременья начиналось оживление детворы по избам у веретен, по печкам и за книгами.

У Анены были последние дни беременности. Эти дни, когда будущая мать чаще и чаще останавливается в забытьи, улыбается внутрь себя, и все ее внимание там: две жизни — одна жизнь. Дни усиленных сигналов: то верхний толчок под сердце, то в низ живота бьется готовое существо внутри матери, и больно, и страшно, и радостно сжимает сердце.

А мать, как тельная корова, склонит голову к месту плода, и улыбается полный, прекрасный материнский глаз, и катится по нему слеза.

Нежная беспомощность и вместе с тем полная готовность

жизнь свою отдать за движущуюся внутри ее новую жизнь… Вечером двадцать четвертого положение роженицы стало болезненным и тревожным. В любой момент могли начаться роды. Повитуха и Февронья Трофимовна находились безотлучно при Анене.

Сережа ясно почувствовал, что ему в келейке делать нечего, да и неловко как-то, и он до утра покинул избушку, где происходило рождение…

По приказу тещи затопил он баню. Принес дров для передней избы — он вообще в эти часы действовал механически, безвольно, делал, что ему говорили, выходил, возвращался — все равно его уши были там, у живота жены.

Сережа о рождении никогда не думал раньше и не представлял себе его способов. Вначале после каждого вскрика жены он говорил с облегчением про себя:

— Ну, вот и родила, значит…

Считал по времени вскрики. Затем бросил счет и забыл о времени.

Ветер перебирал крышей. Свистал по чердаку избушки. Звенькал оконцами.

Федосья Антоньевна возилась у печки, кипятила воду, парила какие-то листья и то и дело бегала в келейку.

— Ну что, мамынька, как? — спрашивал Сережа.

— Да ты бы ложился, — отвечала старуха. — Уж если грех какой — в баню придется или что — разбужу тогда… Вот на полати ложись, а то зря сон ломишь…

— Дождусь уж, мамынька… — Он накинул на плечи шубенку и вышел на крыльцо. Сел на приступку, облокотился спиной о притолоку и задумался.

Чем дальше тянулось время, Сереже все более начинало казаться, что и он сам кувыркается с порывами ветра в прибое волн, в нескончаемых родах жены, что все окружающие и он сам — это одно и то же — и это все, что есть в наличности, а дальше и кругом все пусто, кроме этого клубка, в который его завернуло…

Отец рассказывал об этой ночи:

— От Волги шум валов… Ветлы сучками скрипят… Нет-нет да и вскрикнет Анена… Сил больше нет моих. Чувствую, будто всякая моя жилка этим же ходуном ходит, что и все вокруг: и рожу будто я и мучаюсь, сучками скриплю ветельными… По спине мурашки заходили от непонятности всякой. Встал будто я с крыльца и направился к обрыву. А под обрывом как в котле кипит… Оботкнулся об угол сарая, прижался и стою… И вот начинает светать. Разбегаются тучи и темнота, и понять ничего

невозможно: ни Волги, ни бани под обрывом… Везде, куда гляжу глазами, — желтые поля зрелого хлеба… Колосья стригутся как бы сами собой… Думаю, — за высотой соломы жнеца не видно… А колос валится, валится, скирды вырастают… Смотрю — в полоску вытянулись… Думаю, — люди идут ко мне. Вижу — как муравьями раздвигается жнива… Желтые, безлицые, а знаю, что люди, и ко мне идут они… И сам-то я насквозь в желтом, как в банке с медом. И страшно чего-то, и будто так надо, чтоб было…

А люди все ближе и ближе и слова говорят: один, за ним другой и все гуртом: «Таскай, таскай, хлебушко…» — «Ладно, говорю, — вот артель подойдет…» — «Чем таскать будешь??» — «Пудовкою — по закону…» — «А пудовка где??» — Посмотрел я возле себя — нет пудовки. «А ссыпать куда станешь??» — Обернулся вокруг, и захолодело все во мне… Кругом желтая гибель. Признака жилья нигде нет… И затемнило в мыслях: «Куда ж зерно девать?…» А они все больше окружают меня… Деться некуда, задыхаюсь… И вдруг расступились они сразу… Зашипели — вроде как — смехом и подносят ко мне, к лицу самому… Понять не могу, что это, но уже будто не такое желтое и как будто точеное… И разглядел: мертвый ребеночек на соломе… Заорал я, либо показалось, что заорал… Открываю глаза на утреннем рассвете и слышу Слышу, младенческий крик из келейки…

Отец увидел меня уже готовым, убранным, в новой колыбели, у изголовья матери.

— Ну, вот, здравствуй, новорожденный, — неуклюже заговорил он с младенцем.

Мать, с еще не успокоенным от страдания лицом, но улыбающаяся, смотрела на своего первенца, сморщенной, розовой мордочкой видневшегося из пеленок. Она переводила глаза на отца, чтоб убедиться и в его радости…

Отец вспомнил ребячье заклинание:

— А-гу, а-гу, — залаял он в упор на сына и затряс бородой. Новорожденный не смутился. Он мрачно, упрямо смотрел перед собой, пронизывая все преграды: ни пространства по его ограничениям, ни светотеневых нюансов, обозначающих рельеф, — он еще не знал. Это было четырехмерное распространение себя в мире.

Еще не начали собираться тверди, островки, за которые он потом будет хвататься щупальцами чувств, затвердевать сам и вводить себя в рамки трехмерия Эвклида, чтоб потом… Но что в них, в этих «потом», которые являются всегда слишком поздно… Сейчас — это среда туманностей, в которой пульсирует и он сам, человек четырех часов жизни от роду.

Было двадцать пятое октября, тысяча восемьсот семьдесят

восьмой год…

Глава восьмая
УЮТЫ

К ноябрю погода как бы треснула. Выпал снег. Заморозило. Волгою пошло сало.

На Малафеевке по дворам стучали рубки — дорубливалась капуста. Ребятишки в шубенках, в валенках грызли сочные капустные кочни — это было осеннее лакомство.

Подмазывались битые стекла окон. Землей и сухим навозом засыпались заваленки. Закрывались на зиму малафеевцы. В закупоренных домишках вечеряла молодежь и беседовали взрослые. Мелкота на печках, свесив мордочки, заспанными глазами следила за весельем взрослых.

В келейке было свое оживление.

Новорожденного назвали Кузьмой. Неуклюжее, на «а», плохо сокращающееся имя вызвало некоторое огорчение Анены.

Крестная защищалась:

— Кумынька, Анна Пантелеевна, а ты и за Кузьму спасибо скажи; такие имена поп Николай давал, прости меня Господи, до притвора церковного не упомнила бы.

— Хорошее имечко, — вступился за «Кузьму» Андрей Кондратыч, — плотное, земляное. В нем, как в поддевке хорошей, ходить будет Кузярушка…

Празднование крестин, а заодно и именин происходило на Косьму и Демьяна в передней избушке.

Были щи из свежей капусты, жареная баранина с картошкой, соленые рыжики и пироги с морковью и с изюмом. Дядя Ваня купил к торжеству кагора, вина церковного, за которым и производились поздравления.

Виновник торжества оставался в задней келейке. Он все еще отсыпался после октябрьского купанья, просыпаясь только для груди матери и для исправления некоторых неудобств, свойственных этому возрасту. Бабушка Федосья его охраняла.

Крестный, единственный раз показавшийся в нашем доме, только на этом празднике, был молчаливый мужчина с большой бородой, имел медвежий вид, но без медвежьего добродушия.

Лет семи от роду имел я с ним, после хождения возле купели, вторую встречу, при следующих обстоятельствах: я был в церкви с бабушкой. К концу службы она показала мне на впереди нас стоящего, обросшего бородой мрачного мужчину, объяснив, что это крестный, что хорошо бы мне подойти к нему и поздороваться.

Сказано — сделано. Дети любят быть вежливыми. Я обошел мужчину, чтоб показаться ему с лица, тронул его за руку и сказал:

— Здравствуй, крестный.

Мужчина наклонился ко мне, не поняв сразу моего приветствия.

— Здравствуй, крестный, — повторил я, протягивая ему руку.

— А ты чей? — хмуро спросил он.

Я сказал. После этого крестный гмыкнул в недоумении, что ему со мной делать. Потом нашелся: он взял пальцами мое ухо, больно сдавил его и сказал:

— А если крестник, так вот тебе, — не шляйся по церкви… На этом случае и кончилось блюстительство крестного над моим поведением в жизни. Нечего говорить, что и я не проявлял с той поры особенных усилий для встречи с ним.

На празднике крестин, по утверждению присутствующих, он сказал одну-единственную фразу, поднося для чоканья рюмку кагора к отцу и матери:

— Чтоб все хорошо было, чтоб крестник мой не раскаялся в том, что родился…

Что касается крестной, простейшей до примитивности женщины, она до смерти своей навещала нас и всюду хвалилась крестником.

Рождение ребенка перевернуло жизнь в келейке, подняло ее темп, сблизило живущих и, можно сказать, сгрудило их возле крошечного существа. Отец, мать, бабушки, дядя Ваня и Андрей Кондратыч стали непременными участниками в младенческих перипетиях.

Каждый из них нес свои лучшие запасы, годные для ребенка: бабушки ворчали на промахи неопытной еще матери, урывали к себе новорожденного зверька, укутывая, убаюкивая его, волнуясь из-за малейшего его писка, и грелись сами над тем, который будет продолжать собой их кончающуюся жизнь.

Дядя Ваня, приходя со службы, приносил неудобоваримые расписные пряники и застенчиво входил в келейку, чтоб хоть на минутку попестовать племянника. Возился с ним, агукал и, полный удовлетворения, уходил спать на полати передней избушки.

Ранним утром, уходя на работу, он снова забегал, чтоб напитаться любовью для трудового дня.

Андрей Кондратыч был замечательным пестильщиком, способным заменить любую няньку. При неуспокаивающемся плаче Анена бежала за Кондратычем, и достаточно было последнему взять ребенка на руки и произнести ему одному свойственные прибауточные заклинания, как тот успокаивался и

засыпал.

Сережа полон был отцовским самодовольством, постукивая за верстаком по размоченной подметке или на ссыпке, перебрасывая пудовки зерен. Мысль о возвращении домой, где его ожидает сын, улыбала его лицо.

— А мой-то, — вместе с пудовкой бросал он соседу-товарищу, — улыбаться начал… Чмокнешь ему губами, а он и засмеется…

— Да они уже все так, — отвечал зараженный отцовской радостью товарищ и подхватывал отцовский груз.

Вечером Сережа возвращался утомленный, но довольный. Мать рассказывала отцу всю дневную биографию сына. Отец ел и улыбался и поддакивал.

Когда ребенок просыпался, оба срывались со своих мест к люльке и теребили на части ревущего младенца.

Как в осеннюю погоду, вдали от жилья, собираются возле костра путники и ощущение тепла и света роднит и сближает собравшихся, так жители келеек обступали колыбель новорожденного и грелись возле него от усталости и ненастей жизни.

Из вхожего люда, присутствовавшего при моем младенчестве, была Домнушка Тутина. Ее ребенок Кира, мой первый товарищ в младенчестве, был недели на две моложе меня. Наша дружба продолжалась и потом, вплоть до катастрофической смерти Киры.

Первый бытовой романтизм, мне кажется, я получил от знакомства с этим домом, поэтому здесь мне представляется уместным описать этот дом.

Семья Тутиных пользовалась большим уважением всей окраины. Их дом был неподалеку от келеек. Двудушное место Тутиных было обнесено высоким забором. Дом, выходивший тремя окнами на улицу, не казался ничем особенно замечательным, если не считать бросавшейся в глаза добротности самой стройки на двенадцать венцов поднимающихся кругляшей сруба, но когда переступали вы за высокий порог калитки, пред вами открывалось нечто подобное древнему детинцу во времена расцвета деревянного русского строительства.

Пристройки, надстройки со слуховыми окошками говорили о натурально выросшем и разросшемся доме, попутно с разрастанием семьи живущих. Тутины, эти пшеничного цвета волос мужики от дедов до внуков, своими руками увеличивали этот улей, избегая отройки.

Двор удивительной чистоты и порядка окружен был амбарами и сараями. Из-под навеса сарая вели ворота на второй двор-сад, где была баня и маленькая избушка-саженка. Наконец,

за этим двором-садом был еще третий двор-пустырь, с калиткой всегда на запоре, и упирался он в обрыв над волжскими огородами.

Этот последний двор, куда нас, ребят, не пускали, пользовался у нас в детстве славой таинственности.

Передняя часть дома, выходящая на улицу, была просторной светлой избой с полатями и русской печью за перегородкой; перестройки и надстройки этой части не коснулись. За этой избой, соединяющейся сенями, начиналась вторая половина дома с лесенками, переходами, светелками и каморками.

Фасад этой половины выходил на Волгу низкой палатой с божницей, занимавшей весь угол помещения.

Мельком, всего несколько раз побывал я в этой палате, но мне врезалась в память моя первая встреча с образцами древнерусской живописи новгородского письма. Мало я смыслил в ту пору, но цветовое свечение вещей запомнилось мне живо по сие время; это были три большие иконы без риз: «О тебе радуется всякая тварь», «Спас нерукотворенный» и «Не рыдай мене мати». При позднейшем ознакомлении с русской живописью, эти работы еще ярче и сильнее осветили мою память, и новгородские образцы и мастера Рублев и Дионисий показались мне уже близкими и знакомыми с детства.

Семья Тутиных, как я уже говорил, отроивалась редко, и центр оставался здесь, у прабабки Акулины, или «бабуни», как ее звали свои. Акулина Аввакумовна была старшей в роде — в то время ей насчитывали сто пятнадцать лет. Возле нее и раскинулось гнездо Тутиных.

Я не берусь сейчас в точности разобраться в количестве, именах и родстве этой семьи.

Из моего поколения был Кирилл, сын Домнушки, потерявший отца еще в раннем детстве. Кстати, об этой смерти говорили разно на стороне, но сходились на какой-то «смерти неспроста». Сами Тутины называли смерть Василия Тутина несчастным случаем. Фактически отец Киры разбился при падении с откоса Федоровского бугра на каменистый берег Волги.

Так вот от Киры, моего сверстника, и вниз, и вверх шли этажи от младенцев до стариков.

Знал я глубокого старика Степана Ильича, младшего сына бабуни; его сына Перфилу, деда Киры, но я путал их лица и лета: настолько мужчины были однотипны — все одетые густыми бородами и шапками пшеничного цвета волос, все синеглазые, а перевалив за тридцать лет, все они становились ровесниками по виду.

Запомнил я и саму «бабуню», на березовом диванчике, с

плотно закрытой головой, в темно-синем сарафане и с душегрейкой поверх его.

Этот дом манил меня своей особенностью. Будучи в нем, я старался не пропустить ни одного зрительного либо слухового впечатления, и вместе с тем в его переходах за мною по пятам ходил страх, что вот в одном из них захлопнет меня дверь и я больше оттуда не выйду.

В доме я никогда не слышал повышенного голоса, принуждающего кого-нибудь из живущих в нем, но внутри этого гнезда чувствовалась непреодолимая, казалось, ничем извне спайка и крепость жизни.

Об укладе жизни Тутиных, о их честности — «да» или «нет» Тутиных «крепче казенной печати», — об этой жизни говорилось с уважением, но и потихоньку — из-за боязни навлечь на них подозрение гонителей.

В говоренье о Тутиных перепутывались выдумка с правдой, очевидно, особенности их толка, не имевшего точного названия, рождали говор:

— У Тутиных в подвалах дома замуровались не то святые, не то колдуны, которые крепость их сторожат…

— Все возможно, — отвечают собеседницы, — одно слово — «птичью веру» себе избрали…

— Да-к ведь люди-то они хорошие, хошь и птичники, — защищала третья переплетунья.

Говорили о каком-то старце, руководителе их секты, будто бы живущем на пустыре третьего двора.

Последнее мы, ребятишки, принимали за правду, основываясь на запрете нам посещать этот пустырь.

В это приблизительно время, о котором я вспоминаю, со мной произошел случай, приведший меня на третий двор Тутиных.

У меня была любимая стрела. Несмотря на свою дальнобойность, она существовала у меня уже несколько дней. Такие долговечные стрелы мы называли «заветными». Это была отличная по форме стрелка, особо утолщенная у острия, с точно выверенной на отвес зазубриной для нитки, с тончайше оструганным перовидным концом. Пущенная ввысь, она уходила в синеву неба и оставалась там невидимой до пятого счета; она вонзалась в крыши и в заборы строений и до половины самой себя втыкалась в почву, падая с выси.

К месту сказать, — стрелы такой системы были любимыми у нас на Волге в наш ребячье-охотничий период. Изящество формы, элегичность ее короткого существования и улета в неизвестную даль, и змеиный свист в момент первоначального взлета, и, наконец, действительно большое пространство, которое она

могла преодолеть, все эти качества были особенно нами ценимы в этого рода оружии. Лука мы не признавали, хотя и отлично знали об его существовании.

И вот у меня с моей «заветной» случилась осечка: соскочил с нареза и сделал лишний оборот узелок хлыста, которым давалось движение. Зенитный расчет был нарушен, и стрела взвилась отлого, блеснула над задворками домов и скрылась. Я был огорчен неудачей и, не желая расстаться со стрелой, решил во что бы то ни стало ее разыскать.

Долго и безуспешно бродил я задворочными огородами, покуда не добрел до высокого забора Тутиных. В заборе стрела не торчала, и так казался естественным ее перелет по ту сторону.

Царапая до крови руки и ноги, взобрался я на забор, и предо мной открылся пресловутый третий двор.

Ничего особенного он собою не представлял — пустырь как пустырь. Глухая сорная заросль лопухов, репейников и несколько скелетов сухих деревьев, задушенных хмелем и повиликой, а в углу этого пустыря возвышался над землей низкий, в один-два венца, сруб… Но какова была моя радость, когда на плоского ската крыше этого сруба я увидел блестевшую на солнце, как золото, мою стрелу.

Теперь мое покушение на запретное место, к тому же самое обыкновенное по виду, получало оправдание — у меня была причина быть здесь.

С большими неудобствами да и с волнением спустился я в девственные заросли; забывая крапивные ожоги босых ног, добрался я до сруба.

После того, как заветная очутилась в моих руках в полной сохранности, у меня разгорелось любопытство на дальнейшее обследование этого сруба. К стороне забора, у самой земли, я заметил небольшое оконце. Осторожно подкрался я к нему, затаив дыхание, прилег к земле и заглянул во внутренность подземелья.

Еще не успели мои глаза свыкнуться с темнотой, как я почувствовал чью-то руку, легко тронувшую меня за плечо. Я ахнул от неожиданности и стыда и вскочил на ноги…

Предо мною был высокий старик с желтой, как пакля, бородой. Из-под нависших седых бровей смотрели на меня улыбающиеся глаза.

Старик был простой, обыкновенный, в длинной посконной рубахе, но в чем-то была его необыкновенность — очевидно, в словах, во взгляде, в жестах.

Многого не мог я тогда понять. Не знал я ни той борьбы среди человечества, разделенного на два враждующих лагеря, ни

того, кто, в сущности, был передо мной, и самый разговор, припомнить который буквально я сейчас не сумею, ничем особенным не подчеркивал создавшегося во мне впечатления, но впечатление мое от старика было резкое и определенное: этот старик очень хороший, не виноват ни в чем, но его преследуют хищники, разнюхивают его след.

Мои симпатии стали на его сторону. Выходя из этого третьего двора Тутиных через маленькую калитку, открытую мне отшельником, и очутившись на волжском обрыве, я забыл о моей стрелке, в моих мыслях возникла неизвестная мне дотоле жалость или любовь к человеку, гонимому — этот с желтой бородой старик стал для меня типом гонимых.

И когда, недолго спустя после этой встречи, к Тутиным явилась полиция для захвата живущего в подземелье, я употребил все мои детские усилия и выведал, что мой старик хорошо укрыт, что до него не доберутся, а что касается подземелья третьего двора, так это было самое простое зимовье для тыкв и картофеля, и эта овощь отлично выдерживала в нем любые морозы.

С Кирой Тутиным мы были одноклассники по школе. Он первый из своей семьи, по собственной инициативе, был отдан в светскую школу. Старик Феофан, о котором только что была речь, был его первым учителем. Помню, после классов мы с Кириллом удлиняли наше возвращение домой, чтоб пройти берегом Волги и выкупаться. Он позднее меня выучился плавать, но плавал легче меня: по пояс под водой, слегка двигая руками, он легко опережал меня. Я удивлялся его легкости. — Ты не так дышишь, — сказал он мне однажды, когда мы взапуски брали гору. И Кира стал объяснять мне способы дыхания: подъем грудной клетки, работу диафрагмы, управление струей воздуха, поступающей через нос. Насколько мне помнится, он даже показывал мне на примере верхнее и нижнее дыхание. Это было от школы Феофана.

Частенько навещала младенца и бабушка Арина. Она остро и деловито следила за ростом внучонка, не проявляя лишнего излияния чувств. Да и не удивительно, что это было так: возле Арины Игнатьевны кишели внучата от дочери и двух старших сыновей, их было не менее полутора десятка. Щадить и холить их нет нужды, наоборот, пусть каждый выкарабкивается, как умеет, чтоб упор приобрести. Бабушка была как хороший охотник среди своры щенят: все они от любимой суки, все, казалось бы, близки, но дело делом — забавляться сердцем некогда…

Сергуня, младший сын, хирел, слабел, но выжил, к нему у Арины Игнатьевны особенное чувство, с которым она не справилась по-деловому, а от него и на внука распространилось,

не то жалость, не то… Чуждоватой для Арины была семья Сергуни, только с Февронией у нее установилось взаимное понимание, да и то при встречах они скорее наслаждались, пронизывая одна другую остриями ума и как шахматные игроки равного качества, бессильные сделать одна другой «мат», уважали в противнике собственную силу.

Так вот эта чуждоватость к окружающим Сергуню, подчеркивая материнское собственничество к нему, переносила и на внука специальное чувство охранительной любви.

Был такой случай, о котором мне с жутью рассказывала мать. Принесла она меня — крошку навестить бабушку, не зная, что у нее в доме в полном разгаре корь. Все мои двоюродные братья были в сыпи и в жару.

— Не бойся, — говорит бабушка, — это хорошо, что ты пришла, Анна Пантелеевна, внучку это на пользу будет…

Она распеленала и положила меня между болящими и отерла их бельем… Мать опрометью, в страхе бросилась со мной домой и прямо к тетке. Заливаясь слезами, она рассказала ей, что проделано было над ее сыном.

Февронья Трофимовна улыбнулась.

— Реветь после времени нечего… Арина не дура, знала, что делала. Не выноси Кузеньку на улицу… Придет болезнь, но она будет легкая, мы с ней справимся…

Потом она объяснила, что зараза кори, полученная непосредственно от соприкосновения с шелухою больного, ускоряет процесс болезни и делает его менее острым, а при неизбежности болеть корью, чем раньше она пройдет, тем лучше.

Происходящее среди окружающих едва ли доходило до сознания младенца, а если и доходило, то, вероятно, в очень и очень своеобразном виде, не похожем на наши представления взрослых людей.

Уже крещенские морозы прошли. Ребятишки на ледянках катались с Малафеевского обрыва. В начале Великого поста пришла корь и прошла благополучно.

Глава девятая
НАТЮРМОРТЫ

Помнить я себя начал с нескольких моментов, изолированных от окружающего, не связанных с ним.

Голым сиденьем вожусь на полу, у стенки. Возле меня кто-то такой же, как и я, маленький, сидит и не возится. Я показываю ему пример, что возиться дело очень простое, и ударяюсь головой о стену…

Лежу в колыбельке. Возле меня где-то знакомые тихие звуки. Предо мною резкая по свету амбразура двери. Я в сенцах — их я потом узнал.

Горит лампа. Кругом темно. Я на скамейке, загороженный столом. Пугливо… Кого-то нет.

Быстро поворачиваюсь к окну и вижу, как из черного стекла смотрит на меня лицо отца и называет меня.

— Сережа, Сережа! — кричу ему.

Кто-то меня хватает на руки, но не отец, закрывает мою голову и шепчет надо мной.

Которая памятка раньше, которая позже — не знаю.

Я сижу на какой-то горке, не дома. Надо мной ничего нет — пустое надо мной, не за что ухватиться, и я падаю…

Такое же пустое, но движущееся близко, возле меня… я подползаю к нему. Оно катится на меня, булькает и обдает меня холодным накатцем воды… Надо реветь…

Обстановка борьбы. Я во взбудораженном пространстве, предоставленный сам себе. Плоскости стен, потолок движутся. Ногой не зацепиться о пол — пол качается… Вот и я закачаюсь, закружусь, как эти вещи кругом меня. Вот-вот и я пошел, хватаясь ручками за пустоту. Я научился балансировать на ногах — я победил тяготение.

Странно, я никак не запомнил одного из крупных событий моего младенчества, в возрасте одиннадцати месяцев, когда я разрезал себе указательный палец правой руки.

Сейчас я записываю об этом факте еще и потому, что порча столь важного для моей профессии пальца и его болезненность от разрыва приросшего снаружи сухожилия играли потом некоторую роль в самой работе.

Родители говорили, что после этого несчастья я перестал ходить и говорить в течение нескольких, следующих за несчастьем, месяцев.

По рассказам дело произошло так.

Отец приготовлял из бруска березы деревянные сапожные гвозди. Мать занята была у печки.

Я совершал мои первые путешествия от предмета к предмету, больше доверяя держащимся рукам, чем ногам. Дошел до верстака, и у меня, верно, глаза разбежались от захватившего меня интереса: колются, щелкают, блестят и отскакивают от бруска палочки. Хорошо умеют играть взрослые. Чик, — отскочила. Чик, — опять отскочила…

Как же не схватить палочку и… чик, — щелкнул опустившийся на доску нож отца на мою руку. Сапожный нож — гордость сапожника, тульской стали. Крики, ахи. Сгрудились над крошкой отец и мать. Заворачивают полотенцем руку. Плачут… Ребенок еще весело смотрит на обнимающих, ласкающих его родителей, но красное полилось сквозь обмотку — невиданный, редкий цвет резанул по глазам ребенка, и он заплакал…

Указательный палец был разрезан вдоль до второго сустава. Вероятно, перерезанное сухожилие можно было сшить, но от келейки до больницы не скоро доберешься. Лечил местный «фершел» — примазал рану отцовским же сапожным лаком, завязал тряпочкой и приказал не снимать повязку, — «пока не заживет».

Первые дни новорожденный как бы высвобождает себя от условий утробной жизни: налаживает самостоятельное дыхание, осваивается с инстинктивными и уже изобретаемыми движениями.

Родовое сосание груди матери сопровождается нажимом ручкой на грудь. При слабо развитом соске, плохо подающем молоко, — присосанный младенец теребит, вращая головкой, грудь. Потом начинаются гримасы. Отец и мать решают, что это улыбка.

— Сегодня улыбнулся в первый раз, — говорит мать, — право, право, — я вот так склонилась над ним, а он…

Отец также пытается получить улыбку. И действительно, в мордочке что-то перекосилось — конечно, это улыбка, решает и отец, склоняясь от радости бородой в самую люльку, что пугает ребенка, и он начинает реветь.

Новорожденному, несмотря, может быть, на все почтение к родителям, не до улыбок Мутные глазенки его ослеплены льющимся в окна светом; ретина глаза непослушна: свет и тень неясными контурами маячат в его мозгу. Он пускает в работу мускулы лица, чтоб урегулировать зрительную камеру. Когда светотеневые предметности становятся выпуклее и ярче, новая борьба восприятий озадачивает крошечное земное существо: оно протягивает руку, чтоб схватить темную дыру открытой в сени

двери, оно не знает еще фокуса для определения расстояния.

Ребенку не до родительских сентиментальностей — он борется за жизнь, и в этом никто ему не поможет, он предоставлен самому себе в приобретении опыта и ориентировки.

Но вот третья, четвертая неделя — и ребенок сам начинает рваться из своего одиночества и пытается даже дать знать близким «движущимся», что он их видит, отличает.

— Как же, это ты, у которой молочко теплое и возле тебя тепло… А у тебя борода щекочет и веселит меня и ты ничего, приятный… С вами не страшно.

Матери и няни знают, что к ребенку надо подходить звучащей и движущейся, и такое явление ребенку понятно, и он расплывается в гримасу смеха беззубым ртом.

Неподвижное явление пугает, и не определишь, находится ли оно возле носа или его и руками не достанешь.

В конце второго, в начале третьего месяца у ребенка возникает новый жест.

Он лежит в кроватке лицом кверху. К лампе или иному предмету вдали прикованы его глаза. Насуплен лобик. Он пытается вытянуть руки, чтоб достать до предмета, но, как бы вспомнив опыт, начинает ворочать на подушке головкой вправо и влево, то быстрее, то медленнее, не спуская глаз с затронувшего его внимание предмета, и вот он начинает агукать и смеяться.

Он заставил двигаться предмет относительно к собственному движению. Эта находка и есть один из основных этапов и завоеваний младенческой поры.

Теперь, встречая и лицо матери и желая большей его жизненности, — ребенок проделывает этот жест.

Отца взяли в солдаты.

Каждую осень впоследствии напевал он эту песенку:

Как первого ноября
Жербьевался мальчик я.
Жербьевался, призывался —
Сорок третий доставался…
Сорок третий — лобовой…
Со слезами шел домой…

Зачислен он был в Новочеркасский полк, стоявший в Петербурге на Охте.

Партию новобранцев направили на Сызрань. Здесь растасовали. Посадили на поезд, и поехал отец в страну петровской прихоти.

Первая поездка. Первая чугунка и первая разлука. Отец редко

делился своими печалями даже с семьей. Он говорил:

— Другим твоего плохого не надо… Плохого у каждого про себя хватит.

— Ну, как же ты, папа, добрался на службу? — спрашивал я у отца.

— Да ничего себе… По тебе да по матери больно скучал, а так ничего. Народ хороший попался в партии — как родные между собой стали. И будто и перемены особой не было: что Москва, что другой большой город, а мы все промеж себя и друг с дружкой — оно и незаметно и диву особенного на новые места не чувствуешь… Вот одно приключилось дорогой. Петруха Кручинин, дружок мой, шапку потерял — это уже как в Петербург приехали… Ну, и пришлось шарфом голову повязать. В шарфе и шагал Петруха на Охту до самой казармы… Не иначе — украли у него шапку: ворья этого за нами слонялось — непроходимо… Потом, когда водворились на месте, — порядок начался такой, что только поворачивайся, чтоб деревенщину из нас выбить. Все расписано по команде… Хорошо у них там налажено.

— Налажено-то, пожалуй, — говорю я, — только что же в этом хорошего?

— Хорошо то, — продолжал отец, засучивая дратву, — что ответу с тебя нет: попадай в ногу и ладно — за тебя все обдумано. А главное — артель чувствуешь — она там в струнку вся.

Отец помолчал. Улыбнулся со вздохом.

— Плохого, конечно, немало, но я говорю, если бы такая слаженность да для большого, человечьего дела, ну, тогда бы — песня, а не работа.

Затем отец еще вспоминал.

— Не успели нас еще обломать как следует, в Великом посту были мы на ученье у себя на плацу, как вдруг из-за Невы из центра городского ахнуло. Пушка не пушка. С Петра и Павла как будто не вовремя, а только большой силы звук был. Ученье закончили. Забрали нас в роты и приказ: чтоб никаких отлучек и ворота казармы на запор держать… Сидим мы воробьями на нашестях. И сидели до тех пор, пока не повели нас в полковую церковь на присягу новому императору… Тут мы и разузнали, что с царем-освободителем помещики покончили…

Трудно стало Анене без работника. Надо было кормить себя и ребенка. В это время невестке Махаловой нужна была няня; дядя Ваня, служивший уже у них, и посоветовал сестре взять это место, тем более ребенок собственный отлично мог остаться у бабушки.

От этих дней у меня сохранилась памятка. Первое ощущение социальной несправедливости.

Наружная лестница, ведущая в чужой дом. Я возле бабушки

сижу на ступенях. Мать рядом с нами. У нее на руках ребенок.

Неловко, чего-то стыдно. Мать моя как бы не моя близкая — говорит со мной, улыбается, но как бы стеной отгорожена от меня моя мать. Тереблю бабушку, чтоб идти домой… Мать целует меня, а чужой ребенок хватает ее щеки…

— Домой, домой скорее…

Я остался с бабушками. Я самый главный, — все для меня. Я перехожу от одной к другой. Я провоцирую их любовь ко мне: посмеет заворчать одна, эта старуха не нужна мне, меня холит и ласкает другая.

Эгоизм ребенка получил богатую пищу, этот эгоизм способствует здоровому росту, но за него же и придется ответить в дальнейшей жизни.

— Хочу это я… Не хочу этого… — старухи ссорятся из-за дележки любви моей к ним.

Любил я обеих, ни которой не хотел сделать больно, но зверек рос, мужал, пробовал силы на всемирное завоевание, а бабушки жили и грелись этими сладкими, закатными терзаниями.

Вот, очевидно, в это короткое время получил я запасы образов, запасы семян моей родины, от напевов, шепотов, сказов, с утра до постели баюкавших меня, научивших биться детское сердце в унисон с людьми, для которых трудна пчелиная жизнь, но которые умеют ее заискрить неугасающей любовью к земле и к человеку…

Между лицами бабушек мелькнет реденькая бородка Кондратыча и, как бульканье теплой водички, его напевный голос, то синеглазая Домнушка с ее тихим смехом, то ее Кира, уже сложившийся для меня в друга-младенца, ворвутся в мои памятки.

Бабушки, Кондратыч, Кира — все они для меня. В них уют и творческая тишина. Они, как мягкие деньки июня для наливающегося колоса.

Пусть непогода, засуха ожидают меня, но эти деньки сделают свое дело…

Отец писал домой, то есть, вернее, для него писали за его неграмотностью.

Поклоны «от головы до сырой земли», «жив и здоров, чего и вам желаю», а где-то невзначай, неуместно вплетется писакой: «Скучно, чем нежели допреже одному без семьи жить…»

Наконец одно из писем, видать, написанное уже самим писарем — такие в нем завитки и росчерки, в особенности в конце под словами: «солдат Новочеркасского его величества полка, первой роты, второго отделения Сергей Водкин», — так после «ин» прямо чудеса пером изображены: тут и волны и утка

по ним, как живая, плавает. Так в этом письме до полного вразумления читающего было изложено:

— А приехать бы Вам, дражайшая наша супруга Анна Пантелеймоновна, с ребеночком в город Санкт-Петербург и не скучать бы нам совместно… Так что никто не помер, который приехал, и нам будет также… Пропитанье здесь имеется, ежели кому жить хочется… — К письму была приложена бумажка казенная, о которой сказано росчерком писаря: «Солдатской семье, заместо побывки может действовать».

Анена, обычно нерешительная, в данном же случае реализовала у воинского уездного начальника эту бумажку и быстро усвоила возможность поездки в столицу.

Осенью, с первыми заморозками, со знакомым мужиком, попутно взявшимся довезти нас в своей телеге, двинулись мы на Сызрань.

С этим отъездом много оборвется для меня в Хлыновске. Бабушка Февронья умрет в эту же зиму — оттого ли, что для не примиримои ни с чем старухи последний кусочек любви отлетит вместе со мной и жить для других станет нечем?

Кондратыч потом рассказывал мне — уже мальчику:

— Тосковала она по тебе, Февронья Трофимовна. Другого у ней разговору не было: Кузенька то-то сказал, так-то приласкал ее, засмеялся над тем-то… Письмо когда получили от вас, так она с ним не своя стала: ведь в письме-то рука твоя в обводку была начерчена… Да-с, Кузярушка, — со вздохом закончил Кондратыч, — любовью мир-то земной состроен. — И зачертил цветным перышком по бумаге…

За мой отъезд женится дядя Ваня, и это отдалит его от нас…

…Да и все станет иным для меня по возвращении, неостанавливающееся колесо уходящих моментов переменит и меня, и предметы, и события.

Едем мы с матерью. Я смелый. По дороге, на ночевках для меня все встречные — бабушки и Кондратычи.

Едет Кума Сегеич Кокин, к отцу — Сереже в Петебух. Эта смелость с воспоминаниями сзади меня продолжалась до дома на колесах, набитого битком людьми.

Люди вверху и внизу. Я в уголке, возле матери.

— Трах-тах-тах… Трах-тах-тах… — колотит кто-то снаружи в домик и трясет его…

Окошко то в черное, то в светлое упирается, и в нем бегут кувырком огни и люди, и конца им нет, ни отдыха для глаз…

Только привыкнешь к «трах-тах», как вдруг из-за утла какого-то раздается: «фью-и-и» и свистит в самое ухо… И кто это такой злой все это делает?

Прижался к матери. Пугливо, потому что ничего отдельного не уловишь, ни с чем прочно не ознакомишься в этой ужасной погремушке.

Тряска, сон, свист и опять сон, свист, тряска… Просыпаюсь то на скамейке, то на руках чьих-то. Сижу на узлах, на полу, опять на скамейке… А ведь это даже забавно: привыкать начал, но, видно, поздно: потащили меня с узлами и с сундуками прочь из домика…

— Петербург, Петербург, — говорят и суетятся кругом меня.

Петербург или не Петербург — для меня это вполне безразлично: все равно, мой-то Петербург, где отец Сережа, совсем не такой…

Сажают меня на воз. А кто сажает — у того лицо с усами и в шапке, а на шапке бляха блестит — чужой какой-то, только говорит как-то по-моему… Не разберешь всего…

Воз трясется. Высоко дядя сидит передо мной, толстый — все избы закрыл… Дядя качается, я качаюсь… Спать хочется… Где же бабушки? Ехали, приехали, а их нет.

Мать да мужик с бляхой… А уж говорили, говорили: к отцу едешь — отец встретит. Вот так отец… Просто обманули меня, чтоб не был я с бабушками… Спать хочу…

Потащили меня вверх по темной лесенке на подволоку и внесли в избу. В избе одно окошко. Через всю избу труба железная. В окно Волги не видно По стеклу капли ползут… Бабушек нет…

— К бабушкам хочу. Хочу к бабушкам… В слезах, видно, и уснул я.

Нет, не обманули. Представить себе не мог, а мужик с усами оказался-таки моим отцом.

Все присматривался к нему, все прислушивался, как он с матерью разговаривает, чтоб не ошибиться, а потом сразу и понял: конечно, это он — Сережа.

Произошло это так.

Открываю глаза; хотел заплакать и вижу — надо мной склонилось лицо с усами и голосом знакомым называет — и сыночек, и ненаглядный мой…

Я и спрашиваю его:

— А ты кто? Ты разве Сережа?

Схватил он меня на руки с постели и закружился со мной по комнате. Тут я и вспомнил: избушку у бабушек и круженье меня на отцовских руках: так только он — Сережа — умеет. Я радовался, заливался смехом от щекотки усами отца.

Глава десятая
ОХТА — ПУСТАЯ УЛИЦА

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.

Пушкин

Между Невой и невылазными карельскими болотами тянется узкая полоса возвышенности, стрелкой добегающая до Ладожского озера.

На отрезке этой полосы в полторы улицы шириной уселась Охта — лицом к лицу с растреллиевскими ажурами Смольного.

Попасть на Охту можно или сухопутьем через Выборгскую сторону, делая огромный крюк, или от Смольного на перевозе, либо на ялике.

Зимой легче всего — по льду, прямиком, дорога простая. С постройкой моста Петра Великого путь на Охту стал еще удобнее, но и то: Охта, это там где-то, полдня потеряешь, чтоб до нее добраться. Да и сама Охта, что это такое как местожительство: деревня — не деревня, посад — не посад, — ублюдок какой-то среди раскинувшихся дворцов и садов Петербурга.

Но самовоображения у этой Охты хоть отбавляй.

— Что нам, изволите видеть, Петербург, мы и до него существовали. Подревнее мы будем — Охта Орешку ровесница — вот как. А Санкт, этот самый, Петербург сбоку припека выскочил, да-с! — скажет любой старожил Охты.

— Доков, каналов венецейских понаделали, сухопутное Адмиралтейство одно чего стоит. Видите ли, со шведами очень торговать захотелось, Европе пыль пустить, а поищи-ка вот шведа да Европу по болотам… Жизни мужичьей что в камнях замуровано… Ну, и приспичили народ русский к кошке под хвост.

— Да уж имя одно чего стоит, — тьфу, прости, Господи!

Охтинцы считали себя новгородскими выходцами и первыми страдниками за места эти, а уж-де на готовенькое любому Петру, хоть и не великому, сесть легче…

Но одно дело иметь предками новгородскую вольницу, а другое попасть на иждивение к огромному, пусть даже несуразному, городу в девятнадцатом веке.

Охтинцы жили городом, и жили они недурно, благодаря скромным своим потребностям, но надо сказать — и город жил

ими, и в него вносила Охта свое творческое влияние. Застрельщиками в этом направлении были почтенные салопницы, они управляли слухами и сплетнями, вдоль и поперек пересекающими вражеский лагерь. Они направляли судьбы брачущихся, и они были в курсе дела денежного и морального по отношению к женскому и мужскому полу, имеющим возможность врачеваться. Они в корень разили неприятеля.

Вторыми по… по политическому, что ль, значению были «чиновники с Охты».

Снаружи такой чиновник как бы ничего из себя не представляет: отрепанный, с потертым бархатным околышком, да и служит так себе, где-то по сиротскому ведомству, а что он из этих сирот выделывает — министру другому голову сломать, а не сделать. И уж будьте покойны, для Санкт-Петербурга он с сироты последнего креста не снимет.

Эти же чиновники выступали старателями, посредниками в случае какой-либо тяжбы с городом — тогда они становились героями дня, на них, на проходящих по улице, указывали детям в назиданье.

Кроме этих групп, играющих застрельщицкую роль, остальные охтинцы занимались молочным хозяйством, куроводством, мелким ремесленничеством и швейным делом. Столяры и швеи были славою Охты. И справедливость требует отметить: у охтинцев был свой стиль.

Из нагроможденного товара, и бельевого, и мебельного, в Александровском и Апраксином рынке покупатель сразу отличал их работы: особенный резной завиточек на мебели, подборочка какая-нибудь на лифчике или особый ужимчик на талии платья — и вещи выдавали себя и назывались «охтинским шиком».

И если бы молоко не изменило собственному вкусу, наверное, и в него охтинки пустили бы особенную отметку.

Упитанные, опрятные были коровы на Охте. Паслись они пастухом в высокой шапке с длинной свирелью через плечо.

Вечером, к пригону стада, потянемся мы, бывало, мал мала меньше на длинную улицу пастуха встречать. Пастух — юноша, нежный, как девушка, каждому даст подудеть на свирели — от маленьких до постарше.

И коровам, и нам, и родителям — всем приятно от нашего дуденья: вечер, отдых; пережили денек охтинцы…

Пустая улица, на которой находился деревянный, покачнувшийся от старости дом с нашим мезонинчиком, мало отличалась от хлыновских улиц. Редкие домишки чередовались пустырями. Сама она в летнее время от непроезда была заросшая травой, с поросятами и свиньями на ее зарослях. Осенью в

непролазную грязь спасали пешеходные мостки, проложенные вдоль порядка.

Улица сбегала к Неве, на другой стороне которой фантастически громоздились здания с дымами и шумами.

В другую, противоположную от Невы сторону Пустая улица, будучи длиною в один квартал, упиралась в длинную, с одними заборами и пустырями, улицу. За ней овраги, пустыри, а край света для меня там, у речки, где мать полощет белье и купается летними сумерками в густой, черной воде. И я удивляюсь ее бесстрашию и умению владеть волнами, а мать блестит обнаженным телом и плавает…

Свернув по длинной улице, дойдешь до казарм. Дом вдовы Задединой помещался посредине порядка, к нам наверх вела чердачная лестница. Пройдя темное пространство чердака, попадали в нашу комнатку с одним окном и с железной печуркой для варки пищи и для обогревания комнаты. Здесь провел я два года моего перзого петербургского периода. Изредка за это время переправлялись мы на ялике в город.

Помню столбы, на столбах дома. Лошади прыгают, а не двигаются, их держат голые люди.

Одна лошадь задрала ноги кверху, вскочила на каменную гору. На ней человек в халате сидит, руками машет — тоже ке живой, — а у горы каменной стоит живой, с белой бородой, в белых штанах и в высоченной шапке, с ружьем стоит, следит, верно, чтоб не упрыгнула с горы лошадь…

Но что действительно замечательно в городе — это цветные шары, они кучей летают над головами. Один такой шар у меня в руках. Я держу его за нитку. Прохожие сторонятся, ахают на мое чудо…

С шариком в руках сажают меня в дом на колесах. Динь, динь — звенит дом и едет. На крылечке хозяин, видно, стоит — темный весь, а на груди у него огонек светит. Слежу за огоньком, который ходит вместе с хозяином. Странно и очень интересно и… засыпаю на руках отца.

Врезалось мне в память еще одно ощущение.

Ввела меня мать в огромный дом — может быть, это был Исаакиевский собор — и меня странно поразило ощущение масштабности, соотношение меня маленького с огромностью кубатуры здания. Трудно передать сущность этого пространственного ощущения, но оно не повторялось потом в жизни, и я знаю, что я его искал потом, оно меня толкало всю жизнь на поиски соотношений форм, могущих воспроизвести такое ощущение планетарного порядка.

Позднее в величайших романо-готических произведениях я

пытался почувствовать его, но ни в Айя-Софии, ни в Миланском соборе, ни в римском соборе Петра, ни в Вестминстере Лондона, нигде это соотношение моего масштаба с грандиозностью архитектуры не повторялось.

Мне уже начинала казаться случайностью эта моя младенческая памятка, но в 1906 году во Флоренции, зарывшись с головой в творчество Леонардо да Винчи, я напал на его проект — рисунок «эспланады — темпля в пустыне», и я взбудоражился от того совпадения моей памятки с этим произведением. Леонардо осуществил в этом рисунке, может быть, свою детскую памятку. Значит, мерещившийся мне этот космический масштаб произведения искусства возможен.

Таково стало мое заключение, и это помогло мне в разворачивании моих собственных исканий…

Еще одно запомнилось мне из вождений и ношений меня по Петербургу.

Жарко, душно; мы в толпе народа. Крики, напоминающие рев: У-ра-а, Ур-ра…

Отец подымает меня над головами людей, а мать снизу кричит мне:

— Смотри, смотри, Кузенька, — царь едет.

Вижу — в коляске проезжает медленно сквозь толпу офицер, полный, с бородой, а рядом с ним сидит мальчик.

Потом выяснилось: это было в коронацию Александра Третьего.

— Ведь вот, — говорила потом мать, — два года в столице прожили, и ни одного музея, ни даже камеры Петровой не видела. Ему, Сереже, нипочем все это. В Исаакия и то едва его затащила. Зачем, говорит, еще по лестницам туда подыматься: снаружи и так его всего видно до купола.

Петруха Кручинин, случившийся при этой жалобе, успокоил мать.

— Не говори так, Анна Пантелеевна, может, тебе за счастье, что в Петрову камеру не попала. У нас солдат нашей роты пошел ее посмотреть, так чуть жив остался… Матросы-земляки затащили его в эту камеру. Вышли это они к «Мир отечеству», а матросы и говорят: «Айда, брательник, в Камеру, столько повидаем всего и в деревне будет что рассказать»… Пришли. Ходили, ходили по разным паркетам, да в зеркала упирались, себя не узнавали, и завели их в проходец темноватый, и говорит им вожатый их: «Ну, ребята, ежели кто пугливый, так не ходи или норови сзади как, за другим, чтоб вытерпеть, потому, говорит, идем теперь в самую камеру Петра Великого — императора…»

Думали ребята, что для испуга их пристращивают, взяли да и

пошли… Чует солдат, как матросы его передом подталкивают, но чтобы страху не оказать, первым и пошел за занавеску… И вот перед ним самый Петр император в кресле сидит — чернущий, глазами сверкает, в руках дубину держит… Ну, что же, думает солдат, — из чучела, чать, сделан, — потому и сидит.

А вожатый сзади шепотом солдату: «Осмотрите, говорит, служивый, полностью, воспользуйтесь случаем».

Солдат топ вперед, на самый коврик к императору, а тот сразу как взгрохнет во весь рост да как дыхнет из пасти своей прямо в морду солдату… Ну, солдат заорал неистошным голосом, да и брякнулся оземь до беспамяти…

Вот оно как, Анна Пантелеевна, нашему брату камеры смотреть петербургские…

Этот рассказ, произведший на меня в детстве большое впечатление и в фактическом содержании которого я не сомневаюсь, заставил меня порыскать музеями.

Камера — это, конечно, была знаменитая в то время Кунсткамера, но ни в ней, ни в других музеях такого забавника Петра я не нашел, и мне было жаль расстаться с этим жутковатым, балаганным образом не фальконетовского, выспренно подымающего пласты России к услугам просвещенной Европы, а Петра мужичьего.

На Охте пили кофе. Целый день на таганчике стоял и грелся кофейник, заваренный с утра. Каждая охтинка знала свои секреты: до пятнадцати сортов всяких снадобий входило в состав напитка. Мать полюбила кофе.

Когда, сопровождающая старуху Махалову, приехала с ней моя новая тетка и пришла навестить нас на чердак, она вскинула руками и охнула на лицо моей матери — такое оно было «прочерненное от кофейного яда».

Может быть, отчасти это было так, во всяком случае я после этого заключения с детства боялся кофе, но не от одного кофею почернела и исхудала лицом Анена. Верно писал когда-то отец: «Пропитание здесь имеется, ежели кому жить хочется», а ребенок хотел жизни, башмаков, одежды — и Анена из самолюбия не допустила бы сына оборвышем на улицу показаться.

Анена занялась шитьем, вспомнив прекрасные уроки своей тетки, получая заказы через таких же работниц, как и она, из маленьких магазинов конфекционов.

Приезжавшая для вставления зубов в Петербург старуха Махалова помогла заимообразно матери приобрести швейную машину. Теперь, после ручной, машинная работа стала спорее, но худоба и чернота не унимались на лице Анены.

На чердаке, в мезонинчике, застучала машина, заходили с

утра до ночи ноги Анены.

Первая машина вошла в жизнь Водкиных, и наглядно доказывала она свои преимущества над ручной органической работой.

Быстро бегал челнок, чикала носом в распластанную ткань иголка, оставляя после себя ровную строчку. В ящике сбоку помещались всякие металлические штучки, упрощающие рубец, стежку. Зубчики, колесики, рычажки сговоренно вертелись, подымались и опускались, послушно, ласково подчиняясь человеческой воле, и как бы выговаривали:

«Только нам маслица машинного, да будь осторожна, чтоб не напутать в нас чего-нибудь…

Прислушивайся, верно ли мы чикаем, приглядывайся, хорошо ли бегаем, ты — хозяюшка наша».

Ножные мускулы давили с утра до ночи на одни и те же кровеносные сосуды, отдавались сокращениями в низ живота.

Удивленное новому ритму сердце не могло поддержать незнакомую ему пульсацию, без синкопов, без снижения и повышения быстроты, все шло вразрез с элементарной биологической механикой, — сердце пыталось отстаивать права организма, но срывалось, опаздывая то вводным, то выпускающим клапаном, и давало перебои.

Стальной челнок бегал ровно и гладко.

Влипшись в ободок, тянул за собой маховое колесо приводной ремень, и тихий смешок рычажка иголки как бы потешался над «хозяйкой» машины.

Я помню каждый винт этой машины, с вензелями, вьющимися змеями, «S» и «S», инициалами «Зингера»… это новое действующее лицо вошло в мою жизнь, в его ритме я играл, учился, грезил о том, когда все будет по-иному.

— Вот штука-то, — добродушно говорит отец, трогая рукой «Зингера» и обращаясь к Кручинину со своей любимой шуткой: — И что только наш брат мастеровой не выдумает.

Петруха рассеянно отвечает «да»; не отрываясь, он рассматривает машину сверху донизу.

Он просит мать открыть внутренний механизм и долго и внимательно разбирается в системе передач и вращения.

И после долгой экспертизы с довольной из-под рыжих усов улыбкой сказал:

— Да… Дело ясное, все в обрез и в точности, а работа простая.

С этого времени, если случалась какая-нибудь заминка с машиной, Кручинин призывался на помощь и стал ее механиком.

Отец же, похлопав раз поощрительно рукою по «Зингеру», в

дальнейшем пребывал к нему равнодушным.

Я думаю, встреча с этой машиной и толкнула столяра Кручинина на изобретательство: лет восемь спустя он приехал к нам в Хлыновск из своей деревни на деревянном трехколесном самокате, сделанном им самим по своеобразной системе, легко приводимом в движение одной рукой.

В хлыновском бескультурье дело погибло: самокат был продан кому-то в уезд за двадцать пять рублей, там и сгинул, свалившись с косогора в овраг, а Кручинин никем не был поддержан в дальнейшей работе, за которую каждую осень принимался с горячностью.

— Эх, — радостно говорил он, — такая машина будет, что и нажимать ничего не потребуется, — сама пойдет: вроде как бы штопором… А эту одолею, ну, Кузяха, летательную машину буду делать… А то как же, смотри, ветрянка какие жернова ворочает — а человека поднять и совсем пустое дело… — И, забегая вперед, Петруха излагал мне проект конструкции.

К стыду моих молодых лет, ничего я из его системы передач, валов, «крутичей», «зажималок» не запомнил, но до последних моих визитов в Новолесье я видел в мастерской-сарае Петрухи распятым у потолка прекрасно обработанное шасси для новой машины. С каждым моим посещением дерево становилось темнее. Оно висело над головой мастера, как вознесенная профессиональная мечта, но, видно, земля ревниво оберегает обрабатывающих ее, а может быть, обстановка задавила порывы Петрухи. Деревня Новолесье состояла из упорнейших сектантов, а изобретатель, заглянув на службе за горизонты новолесские, научившись грамоте, привез с собой в деревенское одиночество горячее желание развернуть механическое искусство, но был сжат хваткою вековых традиций и остепенился…

У Кручинина на коленях места много. По рукам взберусь на широкие плечи.

— Вставай, Петруха! — кричу ему.

Петруха встать в целый рост не может — из-за низкого потолка он опускается на колени, потом на руки и начинает крутиться подо мной и реветь медведем.

Принес он как-то из казармы деревянных планок и обрезков разных.

— Ну, Кузяха, давай дом с тобой мастерить. Увлеклись мы этой постройкой оба — Кручинин, кажется, не меньше меня. Да и было чем увлечься.

Домик был самый настоящий — окна со стеклами, двери сами закрываются. Наверху дома мезонинчик. Стол и диванчик в доме. Снаружи узоры над окнами и дверями; на крылечке

скамейки по обе стороны. Рукомойник на нитке висит. Но и этого было мало таланту Петрухи: в казармах он снесся со слесарней — на крыше нашего домика появился петух-флюгер, и когда повернешь ручку внизу домика, что означало ветер, — петух начинал вертеться, а внутри дома слышалось треньканье: петух пел…

В перерывах между машиной мать начала учить меня грамоте, как сама училась по старорусской системе: аз, буки, веди, глаголь…

Буквы мною были быстро усвоены до ижицы, и я начал постигать кабалистику складов, что было гораздо труднее: названия букв, участвовавших в складах, запутывали самое слово.

«Люди-он — ло, ша-аз — ша, добро-иже — ди»… Как выбрать из этого нужные звуки, слагающие слово? Медленно развивается сноровка запоминать третий слог, но попробуйте донести их до последнего и соединить в «ло-ша-ди». Затем следовал период нормального произношения слогов «ба, ва, га, да; бра, вра, гра, дра» — и так на все гласные. Врезается эта звуковая алгебра на всю жизнь: мне до сей поры легче прочесть наизусть иностранный алфавит, чем русский, который я произношу инстинктивно как «аз-буки-веди»… Первая азбука, по которой я начал мое изучение грамоты, была прекрасным образцом петровского шрифта, с красными заглавками. Древняя, провощенная детскими ручонками, потом и слезами. Пахнущая росным ладаном, она вмещала в себя все нужное простому человеку петровских времен количество знаний по грамматике, истории, географии и морали поведения.

К пяти летам я уже благополучно перешагнул через колючий плетень старого стиля, и к этому времени появилась в моих руках новая азбука с цветными картинками. Она была верхом моих мечтаний: ясная, понятная, пахнувшая на меня, как из открытого окна, свежим воздухом.

Ну, и где она? Посмотрел бы сейчас на нее!

Кручинин, которого я, конечно, в первое же его появление у нас познакомил с моим сокровищем, также залюбовался книжкой.

— Читай, Кузяха… Да без гри-ври читай, чтобы все понятно было…

Я, поддерживая пальцем слово, прочел:

— Азбука у-чит грамоте…

— Дальше. — Кручинин ткнул ногтем в другое место.

— Ученье — свет, неученье — тьма… — с трудом до испарины, но прочел я.

— Ого, да видно всурьез ты дело ведешь, — удивился Петруха. — Давай, брат, вместе учиться… Будешь учить Петюху

— ну?

Кручинин это сказал всерьез. После этого сговора мы стали учиться вместе, то есть, вернее, я начал учить моего большого друга.

На полу, вытянув от стены до стены ноги, сидел, потел над сложением Петюха. Я между его ног. Перед нами книжка.

— Он, како, он-ко: око, — читает он за мной склады. Через месяц Кручинин уже разбирал вывески на улицах. Это его затянуло, и он продолжал учиться в ротной школе. В деревню Кручинин приехал грамотным.

— Ну, брат, — говаривал он потом, — теперь нас с тобой не продадут по бумажке, — спасибо, брат, за выучку…

Дети, как собаки, чрезвычайно быстро осваиваются с новыми местами, если не очень меняется состав близких лиц, их окружающих.

Уже Хлыновск и бабушки стали для меня как бы сном. Письма от дяди Вани мало говорили о какой-то другой действительности, кроме Охты, а дядя писал обстоятельно, украшая могильными крестами «ятей» свое письмо: от поклонов, от цен хлыновских на продукты он переходил к сожалениям о трудной жизни «сестрицы Анны Пантелеймоновны в чужедальнем краю», к опасениям за «племянника нашего Косьму Сергеевича», «болячий, говорят люди, воздух там». О смерти «тетеньки Февронии Трофимовны», о своей женитьбе… И писал: «коль приедешь, место тебе может быть уготовлено у Махаловых, где и мы с супругой нашей проживаем в услужении»…

Анена знала о неизбежности этого услужения, выстукивая ногами машинные ритмы.

Глава одиннадцатая
КАЗАРМЫ

Зима в тот год была обычная, петербургская.

С взморья, с островов через город ползли на Охту лохматые облака дыма и туманы с болезнями чердаков и подвалов. Снег только на крышах имел некоторую белизну, а по улицам было серо и грязно.

День воробьиного носа короче, да и какой день. Цвета оберточной бумаги из мелочной лавочки — вот и вся белизна зимнего дня Петербурга.

На чердаке домика Пустой улицы стучала швейная машина. Отец уходил затемно и приходил с темнотой, принося запах казармы, щей и каши в кастрюльках, завязанных пестрым платком.

Я знаю казармы, где отец проводит дни.

Иван Михалыч выскакивает из канцелярии. Озабоченный, за ухом перо, но в глазах улыбка — я знаю, эта улыбка заготовлена для меня. Он на ходу ласкает меня по голове.

— Сейчас, сейчас, подожди, дружок…

На обратном пути берет меня на руки и несет к себе в каморку старшего писаря. В каморке что-нибудь уже есть для меня: сласти или игрушки.

Из игрушек, полученных от Ивана Михайловича и долго хранившихся, я запомнил: резного из дерева коня с янтарными глазами и всадником на нем, размахивающего саблей; мраморное яичко со змейкой внутри, у змейки красный язык, и она шевелилась как живая. И главный подарок — трубку, внутри которой переворачивались цветные стекла, производя бесконечных изменений узоры. Замкнутая в этой трубке жизнь была таинственна и уютна.

С солдатами я был в большой дружбе. Я знал их фронтовые артикулы; отлично отдавая честь, я так серьезно относился к этому, что меня с трудом удавалось укрывать в официальные моменты казарменной жизни. Случалось, что я проводил в казарме целые дни.

Несмотря на все как бы одноличие солдат, кроме Ивана Михайловича, я четко запомнил Василькова, светловолосого, с маленькими вьющимися усами; может, его особенная судьба, смысла которой я не понимал, но которая самым фактом события врезалась в мою память.

С солдатами часто приходилось ссориться: забудутся,

разыграются эти большие ребята и начнут меня изводить, и вот в такие моменты с Васильковым я делился моими обидами и успокаивался: Васильков никогда не подтрунивал надо мной, он как-то серьезно, «по-настоящему» умел со мной разговаривать: о своей родине на юге, о семье, где у него был брат, такой же мальчуган, как я.

Солдаты любили Василькова за отзывчивость на чужие нужды: он и письмо напишет, и последним поделится, но в отношениях к нему солдат было нечто не вполне искреннее, какая-то опаска была в них.

— Почему Васильков не бывает у нас? — говорю я дома.

Случившийся Кручинин спросил:

— А ты больно любишь Василькова?

— Он хороший, — говорю я.

Тогда Петруха со своей наивно-хитрой улыбкой под рыжими усами сказал, тронув меня по плечу:

— С Васильковым дружбу водить — можно далеко угодить, — вот что, а нас с тобой и так за тридевять земель занесло…

О моей освоенности с казарменной жизнью Кручинин рассказывал:

— Раздалась команда выстроиться на дворе по случаю приезда генерала какого-то важного…

Команда «смирно», и выпучили мы глаза и груди, а по рядам пошел генерал тот самый. Сейчас до меня дойдет. Стою в струнку, правый фланг держу… И что б ты думала, Анна Пантелеевна, — чую, точно мельтешит что-то сбоку, скосил я глаза и — обомлел.

Возле меня, вытянувшись до моего колена, Кузяха стоит — фронт держит… У меня прямо в глазах мутно стало — беда, думаю, будет, что делать? А генерал направляется прямо ко мне… Офицерство наше заметило, засуетилось, а генерал знак рукой делает, чтоб не трогали. Сам подошел и говорит: «Здорово, молодец»…

Ну, думаю, парнишка, выручай себя… А Кузяха, как молодой петух, наскочил на генерала, нахохлился да изо всей мочи: «Здравия желаю, ваше восходительство!»

Слышу, по рядам тыкнули солдаты, удержаться невозможно, а генерал Кузяху по головке погладил и сейчас же команду: «Вольно, оправься».

Распеканция была большая потом среди своих. Да разве за ним уследишь — не запретить же парнишке полку веселье нести. Да и в полном порядке он себя провел, прицепиться не к чему… Кузяха у нас теперь свой, полковой.

Одно из запомнившихся мне за жизнь в Петербурге

впечатлений — это бани, куда меня водила мать.

Шум банный от массы моющихся делается похожим на какой-то лай, если закрывать и открывать уши. Плеск воды. Нас, малышей, не так много, — мы полощемся на полу, а кругом одни мамы, и толстые и худые, розовые от мытья, на лавках, на полке… Воды лей сколько хочешь, и это так весело…

Однажды к вечеру, возвращаясь из бани, зашли мы за отцом в казармы, да и укрыться немного от падающей с неба слякоти. В казарме свободный час. Солдаты обступили, захватали меня на руки, побежал один со мной коридором… Желтые языки ламп мигали среди человеческой духоты, бросая по стенам зигзаговые тени. Я брыкался, рвался с рук. Мне было жарко, душно, закутанному для улицы. Наконец, когда мой крик перешел уже в плач, мой тиран спустил меня с рук… Группа других, веселящихся мною ребят, опять добиралась до меня.

Всякая игра требует дисциплины, требует обоюдности — здесь это было насилием надо мною, игрою кошек с мышью. Я был возмущен.

— Злые, нехорошие, — кричал я. — Пожалуюсь на вас Ивану Михайловичу.

Я был как раз возле двери в канцелярию. Я прислонился к этой двери. Жаловаться я, конечно, не хотел — это было сказано, чтоб чем-нибудь остановить замучивших меня людей. Иван Михайлович поймет и защитит меня, из уваженья к нему меня оставят в покое.

Надавливая спиной на дверь, я продолжал отбиваться от нападающих. В это время произошло обидное, кощунственное для моей веры в поведение любимого мною человека.

Дверь за мною приоткрылась, и чья-то рука схватила меня за ухо. Солдаты захохотали, как табун лошадей, а когда я повернул голову, чтоб увидеть нового мучителя, чьи пальцы держали мое ухо, — предо мной было улыбающееся лицо Ивана Михайлыча, в тот момент это лицо показалось мне искаженным гримасой издевательства также по моему адресу.

Я вырвался, что было силы, побежал по коридору, крича, вероятно, истерически от обиды и одиночества — ибо никто из солдат не посмел меня тронуть в моем бегстве, бросился в колени отца с криком: «домой, домой».

Отец был готов. Взял меня за одну руку, лаская и уговаривая, в другую узел со щами и кашей, и мы пошли домой… По дороге меня ожидало другое приключение.

Слякоть продолжала свое дело. Шлепалась о заборы изморозь. Ветер свистел в крышах домов.

Прижавшись к отцу, я успокоился. Погода меня развлекала, а

близость настоящего своего человека отодвинула потрясшее меня событие на задний план. «Сережа не позволит никому причинить боль сыночку»… Снег и усы отца щекотали мое лицо.

Мать шла рядом…

После грязной слякоти, после шума людей, возле лампы нашего мезонинчика будет тихо и спокойно… Ужин… Потом калачиком свернусь на сундуке. Покроют меня теплой шалью и, засыпая, долго буду слушать гудящий низкий голос отца, рассказывающего матери о своем казарменном дне…

Книжка — новая азбука — под подушкой…

Мы продолжаем идти вдоль забора деревянными мостками. Я не заметил, откуда появилась человеческая фигура — догнала ли она нас сзади или вывернула из-за угла от фонаря.

Отец солдатским шагом отступил в грязь, сделал полуоборот и вытянулся во фронт.

Пройдя несколько шагов от нас, фигура кликнула отца к себе.

Выбравшись из грязи, отец поставил меня и узелок на мостки к матери и с выправкой подошел к позвавшему.

Теперь я рассмотрел светлые пуговицы на шинели военного.

Я только слышал резкий голос и ответ отца, отрапортовавшего полк и роту, и еще слова отца:

— Так точно. Слушаюсь, ваше-скородие.

И, отбивая такт, отец, не подойдя к нам, зашагал обратно к казармам.

Мы с матерью стояли у фонаря.

Что произошло нечто неприятное, я понял по слезам матери.

Этот злой человек отправил моего отца под арест. Похитил и разлучил его с нами. И он, мой папа, беззащитен. Это — продолжение происшедшего со мной… Игра в солдаты, это мне казалось приемлемым, но причинять этим страдание — это не вмещалось в мой детский ум и казалось ненужно злым и недостойным игры…

На мезонинчике, на сундуке я часто просыпался, звал отца. Грозил злому человеку.

Мать сырым полотенцем смачивала мою голову. У меня был жар. Красные точки крутились передо мной, становились шарами, шары лопались искрами, засыпая мою голову. Сквозь горячую мглу тянулось ко мне чье-то лицо, оскаливая зубы… То махало предо мной головой Кручинина. — Эх, Кузяха… Ай, Кузяха…

Щелью Невы врывались ветры. Крутили над городом мозглявые тучи. Дышали карельские болота, наполняя одурью подвалы гранитных зданий. Одурь подымалась в этажи с зеркальными окнами, приказами, проектами, сплетнями, лилась по стране. Безвольная, как туман, и чужая стране.

Неистовствовал Медный всадник, шевеля искаженными губами над опустевшим детищем Петра, вдувал, казалось, Медный всадник медными легкими в мертвые каналы, башни и шпицы свою пьяную энергию, и ухало от его дыхания в пролетах Новой Голландии, выло под аркою штаба, взметывало крылатую колонну площади и прорывалось по Зимней канавке на простор Невы, деля сокровищницу человеческих творений от вросшего в площадь дворца.

При спущенном дежурном свете по стенам дворца корчились люди и лошади баталий побед Петром рожденных полков. Вздрагивали от бродящих покоями воспоминаний постовые гвардейцы. А в низком угловом кабинете, выходящем окнами к бастионам крепости, потомок Петра чугунным упрямством сдерживал взъерошенную убийством отца Россию. Перед ним через стол в таком же кожаном кресле, как и царь, сидел, выделяясь ушами, великой и загадочной воли человек. Медленно, скрипя ржавыми колесами, поворачивался Санкт-Петербург на русское — слишком русское…

…

В казармах Новочеркасского полка сожалели о болезни ребенка. Приходил военный фельдшер, качал головой над больным и оставлял бутылку микстуры. Болезнь была первая, упрямая — жить иль не жить. Во сне или наяву виделось мне лицо Василькова надо мной, потом Иван Михайлыча…

Красный и синий шары летали у потолка, но все это как бы вдали, в стороне, во мне же решалось что-то новое, сложное, без моей на то воли и без моего участия…

Однажды в доме раздался грохот, разбудивший меня. Я вскочил на сундуке, закричал в испуге. Матери, подоспевшей ко мне, я пытался что-то сказать и не мог: гортань сжималась и не пропускала звука, я не мог выговорить слова — я стал заикой. Возник новый фактор, так или иначе обусловивший развитие характера в дальнейшем, чрезвычайно отразившийся на самолюбии школьного возраста и усиливший переживания внутри себя. Потому, вероятно, в дальнейшем так полюбил я мелодию, звуковую тягучесть — песню. Под нее романтизмом окутывалась для меня жизнь, вещи приобретали особенный смысл и особенное типовое построение, что и пробудило во мне с детства любовь к предмету-вещи и открыло для меня интимное содержание и выразительность любого предмета-явления… Может быть.

Как-никак, а бывает в Петербурге хорошая погода. Бывало, с

конца февраля заиграют золотые зори над Петропавловской крепостью. Красно-кровавыми хвостами и клубами подымутся они до зенита — как испарения из казематов, молчаливо скрывающих могилы правящих и бунтующих.

Сегодняшний злодей, завтрашний правитель — перепуталась кровь в каменных стенах, как в закатном февральском небе над Петропавловской перепутались багрянец и желтизна зари, полыхающей до зенита…

Весной, на островах, над оголенными еще деревьями появится синее бездонное небо… Повеет теплом над ржавой Невой, вспученной морским ветром. Понатужится Ладожское озеро, и закорежится ледяной покров реки… Почки набухнут — вот-вот и они лопнут — пахнет тополиными почками…

— Мама, — вскакивает на сундуке ребенок, — мне нигде, нигде не больно.

Мать спешит к нему. Радостно целует, берет на руки.

— Родной мой, изболелся весь, исхудал-то как за болезнь.

Еще и еще целует; несет к окну. «Посмотри, какое солнышко. Посмотри, травка уже зеленая», — и радуется мать на оставшегося жить первенца. А ребенок еще слабенький до первой струи воздуха, смотрит и улицу, залитую солнцем, и пушком одетые деревья, и комнату с игрушками и азбукой: все для него стало новым, изменившимся и выросшим, как он сам. Изнутри, как почки, наливают силы. Каждая венка пульсирует легко, аппарат уцелел, победил. Мы — победители' — торжествуют сердце и легкие. И ребенок сам весна, сам солнышко — чердак наполняется теплотой уюта.

Приходит отец; опахнуло казармой и щами.

— Папа, папа!

— Сыночек, милый ты мой!

И щекочут усы, и колет борода родного папы-солдата.

Мальчики собрались на стрельбище — рыть пули. Кузя пошел тоже на стрельбище.

За канавами, за пустырями, большие, как горы, земляные насыпи. Здесь ребятишки, уткнувшись, как поросята, в рыхлую почву, выцарапывали кусочки свинца.

Кузя, сколько ни копался, ничего найти не мог, тогда как соседи то и дело находили пульки, обсасывали с них грязь и хвастливо наполняли карманы штанов.

Заморосил дождик. Вязли ноги и пачкались руки. Скучно стало. Сверху вала были видны разбросившиеся площадью казармы, и ребенок направился к ним. Долго лез и выбирался он из пустырей и канав, покуда очутился у каменных столбов ворот, ведущих во двор. Дежуривший у ворот солдат крикнул:

— Эй, полковой, здравия желаю. Разговорились.

— Да, — вспомнил часовой, — отца твоего нет в казармах, его командировали куда-то на Большую Охту — дневальным, что ль, к ротному.

— А Петюха Кручинин здесь? — спросил Кузя.

— Этот здесь… Да о сю пору они, видно, все по двору слоняются, винтовки чистят со стрельбы.

Мальчик пошел вовнутрь.

Погода разгулялась. Солнце ныряло меж облаков, заливая то светом, то облачной тенью огромный двор, окруженный приземистыми зданиями рот и служб. По двору тут и там, кучками и в одиночку, виднелись солдаты. Первая же группа обступила Кузю, здоровались, радовались — давно не видели своего баловня. Блестели винтовочные части, щелкали пружины. Смех, напеванье раздавались двором…

Звук, раздавшийся среди общего шума, не очень тронул мальчика — это был сухой, одинокий винтовочный выстрел, но вскоре после этого звука кучки солдат бросились в угол двора, где помещалась швальня и где виднелись недобранные за зиму штабели дров.

Раздались взволнованные восклицания, и бывшие возле ребенка солдаты побежали в ту сторону, где толпилась темно-зеленая масса мундиров и рубах.

В толпе крикнули: «Носилки…»

Из лазарета показался фельдшер…

У мальчика защемило сердце. Стало скучно, как на земляном валу стрельбища. Отца нет. Куда бы пойти?…

Вдруг возле него появился Кручинин, наклонился длинным ростом.

— Эй, Кузяха, вот ты. Ты бы… Сережи-то нет, он ноне у ротного Свирбеева за посыльного днюет… Ты, мальчона, домой бы, што ль, али как… Вишь, тут грех такой случился…

— Петюха, а где ротный живет?

— Да на Большой Охте по Малой улице.

— Я пойду домой… К маме я хочу…

— Ну, и ладно, — обрадовался Кручинин, — кланяйся от меня… Скоро в гости буду, скажи… А отец вечером дома будет.

Кручинин проводил мальчика за ворота.

— Вот тебе дорога… Да, чай, сам дорогу знаешь…

Завернув за угол, Кузя остановился. Вспомнил взволнованных солдат. Чего-то жаль стало отца, и вместо того, чтобы свернуть к себе на Пустую улицу, он направился к мосту на Большую Охту.

Дошел до Малой улицы и стал рассматривать дома, где живет ротный. Наконец стал расспрашивать прохожих.

— Где здесь мой папа у ротного днюет?… Солдат, папа мой?

Несмотря на четко поставленный вопрос, встречные пожимали плечами, раздумывали, спрашивали других встречных — каждый хотел помочь ребенку — никто не знал, где папа-солдат днюет у ротного. В это время к Кузе прорывается рыжий вихрястый мальчик лет восьми. Он сразу разузнал, в чем дело, переложил в одну руку несомые пакеты, а другой взял руку Кузи.

— Пойдем, я знаю, недалеко тут офицер есть — у него я солдата видел.

Офицер жил на соседней улице. Ребятки вошли под своды ворот и поднялись по грязной темной лестнице. Во втором этаже перед обитой рваной клеенкой дверью вожатый остановился в нерешительности…

— Вот, здесь он — офицер-то… Вот видишь написано… — И рыжий мальчонка долго пытался прочесть на медной дощечке: — Ве… ве-тер… Ве-тер… — Наконец осмелел и резко дернул за ручку колокольчика. Дребезжащий звон поверг в испуг Кузю, но вожатый выставил его вперед, как доказательство нужного дела.

Дверь открылась толстой бабой, босиком, с подоткнутой юбкой.

— Что надо?

— Ротный офицер здесь, — затараторил вихрястый, — солдат у него днюет, вот его папа…

Баба резко оборвала:

— Здеся таких нету… Ветелинар здеся… — и захлопнула сердито дверь…

Рыжий почесал вихры…

— Видно, не здесь… Пойдем…

На улице Кузя расплакался, с ним и вожатый. Наконец, он быстро, быстро стал копаться в своих пакетах и вынул оттуда коробку спичек и кусок хлеба.

— На вот, не плачь… Иди к матери, — всхлипывая, сказал он и пустился бежать восвояси…

Подарок ободрил Кузю, пожевывая хлеб и сжав в руке коробок, он побрел на Пустую улицу…

И уже заворачивал на свою улицу, как полил проливной дождь, первый дождь, — теплый, крупный, кончающий весну и начинающий лето.

Заревел благим матом Кузя, прижал к груди недоеденный хлеб и спички и побежал серединой зеленой улицы к дому. В мезоиинчике открылось окошко, и со слезами сквозь смех увидела мать впервые пропадавшего сына…

Охтинцы, определенные антимилитаристы по отношению к военщине Петербурга к новочеркасцам чувствовали некоторую

даже, можно сказать, нежность. Это был «свой полк», его долами, особенно романическими, интересовалась вся Охта.

«Наши солдатики» пользовались приемом и угощением. Нередко у окна салопницы за кипящим самоваром виднелось лоснящееся лицо новочеркасца и его лошадиного хвоста кивер, торчащий для похвальбы прохожим на краю стола с угощениями.

Охтинцы даже имели некоторое, правда смутное, мнение, что-де в случае чего (ну, сами понимаете, о чем речь идет), так в том случае каши солдатики не изменят Охте — ново-черкасцы постоят за нее.

Как бы то ни было, но для такого нелепого, невзаправдашнего учреждения, каким был для охтинцев Санкт-Петербург, они являлись, пожалуй, единственным здоровым элементом муравьиного мещанства, хранящего тысячелетние привычки и навыки, связывающие их со всей раскинувшейся по Европе и Азии муравьиной кучей.

«Случай», если не вполне тот, на который намекали охтинцы, то все-таки имеющий подобную закваску, этот случай произошел.

Казалось бы, чего проще: застрелился солдат, чего тут особенного — значит, жить надоело, а шум и говор, поднятый по поводу этой смерти, говорил о чем-то другом, о чем можно было только шептаться.

В этот же вечер вышеописанного дня с приключениями пришедший отец сообщил матери о самоубийстве Василькова.

— Чистил винтовку и застрелился. Нажал собачку шомполом — и прямо в сердце… Записку, говорят, какую-то оставил. В казарме страх что — четверых третьей роты на допрос взяли.

На следующий день отец не вернулся ночевать домой, задержали всех «квартирных» и все насчет Василькова…

На Охте пошла молва о раскрытом заговорею Все разно Васильков был бы казнен, вот он и предупредил насилие над собой…

Будто бы арестовали двух рабочих с Выборгской стороны, которые проживали на Охте, и при них нашли взрывное разное, а главное, что оба они были переодетыми, и когда их раздели, то вовсе не рабочими они оказались.

Охта волновалась — что-то будет? Уж не поставил ли Санкт-Петербург пушки на колокольнях Смольного — против Охты? Страшно, а вместе с тем гордость некоторая в глубине где-то: Охта проявила себя… С ней, брат, не шути. Вот мы как.

Мысли Охты развеялись проводами весны.

Это были веселые с грустными песнями дни. Охта хранила этот древний обряд с хороводами и заклинаниями.

На убранной цветами и лентами телеге сажалась весна

красная из соломы и тряпок с расписным лицом, и везли ее за окраину Охты к речке — жечь-топить.

Молодежь пела и причитала, плясала впереди поезда.

Прошло лето — и еще зима.

Анна Пантелеевна стучала машиной, худобея с каждым днем. Ночами ее мучил кашель — болел низ живота. В феврале она заболела. Грустно игралось мальчику на чердаке. Хозяйка захаживала навестить и помочь. Доктор заявил о перемене климата и об отдыхе от «Зингера». В мыслях Анены замаячил Хлыновск, и весной, когда по расчету должны пойти первые пароходы, собралась она с сыном в обратный путь.

Помню — внес меня отец в чистенький с желтыми скамейками домик. Целовались, плакали отец и мать, потом сел на узлы, и затрясло и засвистело, запрыгали перед окошками дома и деревья и ехал, ехал домик неизвестно куда — мать говорила: к бабушке в Хлыновск…

Приехали к большой реке, до большой лодки с колесами. Сели в лодке на узлы и стали сидеть, покуда не поехали перед глазами деревья и дома, затонувшие в воде.

Ну и Хлыновск. Хибарки, лачужки, залитая солнцем в невылазной грязи кувыркается телега… Крошечный домик, на крыльце старуха, сморщенная, горбатенькая — ну и бабушка… Грустно и неуютно. Да и можно ли здесь жить?

Этот контраст мне памятен. И долго до выезда из Хлыновска я чувствовал разницу жизни здесь и там, где как во сне высились дома, одетые клубами тумана. Где вежливые люди, где ребятишки носят штаны… Я вкусил цивилизацию. От Хлыновска и куда-то дальше к большим возможностям от него — до большой жизни. Здесь, в Хлыновске — это временно… Отсюда начинается период, острый и жадный до жизни.

Глава двенадцатая
ДОМ МАХАЛОВЫХ

«Зингер», надорвавший здоровье матери, отразился и на моей жизни, переведя ее в другую, отличную от келейки, обстановку.

Деньги, заимообразно взятые на покупку машины, надо было отработать. Мать поступила в услужение к Махаловым. Механический же виновник этой комбинации был водворен на жительство к бабушке Федосье, где бездействовал, отдыхая челноками и колесами от усиленной двухгодичной работы на Охте.

Если дом Тутиных был для меня архаическим детинцем, где я получил осознание древнего быта, то дом Махаловых являлся переходным этапом к современности.

Махалов, Семен Вахрамеич, старик, умер от необычайной болезни, то есть он не умер от апоплексии, обычно прекращающей жизнь ему подобных. Он был один из главных воротил Хлыновска, распоряжавшийся в городе, как в своем собственном доме: он планировал бульвары и площади, проводил водопровод, наладил богадельню и на удивление сограждан возвел этот свой дом и насадил вокруг него огромный сад, причем посадка производилась многолетними деревьями, доставленными из леса, что было тоже одной из первых проб посадочной культуры в городе.

Зная Прасковью Ильиничну, его жену, можно было заключить, что и она играла большую роль в затеях мужа: смелая, решительная, с самородным вкусом, она, конечно, взманивала еще сильнее и без того несдержанного, рискующего в предприятиях человека, каким был Махалов.

Маха лов был хищник до дела. В сырье окружающей его жизни, среди мелких скопидомских нажив, когда сидение на денежном ящике и было окончательной коммерческой целью среди авось и небось обывателей, он себя чувствовал на Поволжье, как в девственном лесу, еще не тронутом человеческой энергией.

Города вверх и вниз по Волге были введены в сферу его дел и влияния: махаловские конторы и представительства были вкраплены тут и там, но и этого ему было мало.

Опьяненный собственным успехом и творческим позывом, говорил, бывало, Семен Вахрамеич в бражничающем кругу приятелей:

— Эх, вы, тугоумы, да нет на Волге лучшего места как

Хлыновск. Саратов да Самара по старинным нужностям на юру поставлены, а по нынешним временам здесь центру быть. Погоди малость, — отсюда мы в Сибирь пробьемся — линию проведем… — Он планировал рюмками на столе: — Вот тебе: Николаевск, Уральск, степью мимо Оренбурга… От Ивановки по гряде мост будет: ширины здесь с версту не наберется, а там прямо по Венцу — дуй без остановок… Гладь, а не дорога.

Бородатые приятели-хлебники улыбались хоть и скептически, но заражались надеждами Махалова, потому что в дела его больно верили.

Второй проект взволновал не только заволжских помещиков, но и губернские города, а чрез них и Министерство путей сообщения. Проект этот заключался в переведении фарватера Волги в один рукав, то есть в уничтожении Воложки.

В свое время мне довелось увидеть в архиве нашей управы, как музейную редкость, этот сногсшибательный проект с разъяснительными примечаниями и с докладной запиской самого Махалова.

На основном чертеже и на разъяснениях звучала официальная надпись:

«Осуществление сего предположения, как вредоносного для Российской империи путей сообщения, воспретить».

Самый проект отличался широтой размаха и простотой осуществления: от Федоровского Бугра к Вечному Острову шло заграждение, заворачивающее всю главную массу воды в основной фарватер.

Правда, обрывистый и без того подмываемый в этом месте луговой берег с его селами и деревнями мог бы пострадать до полного смыва от усиленной массы воды, но выгоды развития в докладе Махалова были столь заманчивы, что с излишком покрывали собой мелочи разрушения.

Уже не говоря о сокращении пути для пароходов, освобожденное от Воложки место даст много сот десятин лугов. Отбиваемая от Ивановской гряды Волга образует огромный затон, а среднеповолжское место, занимаемое Хлыновском, используется этим затоном для стоянки и ремонта судов.

Плесы, рассчитанные до Саратова переменою направления водной массы у Хлыновска, должны стать иными, а это хорошо отразится на перекатах под Саратовом и прорвет пески, засоряющие город.

Но главное и уже мирового масштаба — это влияние перекопа на заволжские степи: оводнение степных рек и речонок, питающих влагою степи, и этим поднятие урожайности и победа над засухой, создающей периодические голодовки в Самарской

губернии.

Одним словом, Волге проектом Махалова предлагалось переместиться на ее старое историческое русло, берег которого так характерно отмечен уступами Венца, образующими верхний степной подъем верстах в шестнадцати от линии берега.

Меловые горы, окружающие Хлыновск, также дали Семену Вахрамеичу идею нового предприятия. После объезда этих отложений с приезжим инженером Махалов заарендовал у города часть этих гор.

Махалов ездил в Москву, где разрабатывался этот его новый проект, организовывал строительные силы, кипел в работе, и вот в это время его постигла неудача.

Начал ли уже бессилеть Махалов, или окружающая косность привела его к неверию в себя и свои силы, но за этой неудачей последовал в скором времени и конец его жизни. Случилось то, что его проект был перехвачен еще более быстрым, чем он сам, предпринимателем: в Хлыновске разнесся слух, что в соседнем городе начался постройкой цементный завод. Махалов знал, что в данной экономической обстановке два конкурирующих предприятия существовать не сумеют, а когда, ошеломленный и взбешенный, он помчался в Москву и там узнал, что тот же инженер, делавший ему проект завода, вошел в сношение с акционерной компанией и осуществляет целую систему таких заводов в соседнем с Хлыновском городе, — после этого у Махалова опустились руки; но уже окончательное отчаяние испытал он, когда стало известно, что один из главных акционеров-конкурентов был Соловьишин — дядя его собственной жены.

Махалов дрогнул и как бы сломился весь. От пьянства и беспутства засверлила его болезнь, от которой он, очевидно, и умер.

Но и умер Махалов на посту: в свою последнюю поездку по хлопотам о железной дороге. Где-то за Кузнецком на постоялый двор доставили его тело уже окоченевшим.

В городе сильно верили, что только смерть их дельца помешала проведению линии железной дороги через Хлыновск. Последние перед смертью годы были адом семейной жизни Махаловых. Старик пил, ускоряя свою болезнь, ревновал жену к своему двоюродному брату, устраивал на этой почве домашние скандалы вплоть до избиения супруги. Нередко Прасковья Ильинична с маленьким Митей на руках среди ночи принуждена была убегать из дому и скрываться у соседей. А муж, обезумевший от вина и болезни, в ночном белье выскакивал из комнат, подымал на ноги дворню для обысков и для погони.

Здесь я позволю себе сделать отступление для характеристики хлыновских нравов.

Истязание жен было обычным явлением у нас в городе. Настолько это входило в ночные звуки городка, что со мной произошло следующее недоразумение.

В мою бытность в Самарканде возвращался я однажды с Зеравшана в город ночью. Я спускался по склонам высот Чупанаты, когда Самарканд уже предугадывался в темноте котловины, окруженный кишлаками.

В это время снизу, из кишлака, донесся ко мне женский вопль. Через минуту ему ответил другой. Это были надрывающие сердце тоской вопли.

Меня ударила в голову мысль: вот и таджики бьют своих жен.

И что-то щемящее, напомнившее юность, наполнило мою душу. И только тогда рассеялось мое недоразумение, когда я разглядел двойные светящиеся точки в местах, где возникали вопли: это выли шакалы.

Поразительно похоже на женские голоса выли они на осеренную еще не улегшейся дневной пылью луну. У шакала слышалось: удастся ли ему этой ночью усладить лязгающие голодом челюсти и поживиться падалью либо отбросами человека?

Выдержит ли он смертную борьбу с волкодавами кишлаков, чтоб овладеть добычей?

Братья-сестры, шакалы, вместе, скопом, чтоб не было страшно!

В вое слышался тяжелый страх загнанного хищника, столь беспросветный страх, что уже смерть — и та кажется овеянной радостью.

Нечто подобное бывало и в Хлыновске.

Выйдешь душной июльской ночью на убогую улицу. Расшатанные, как от усталости, домики серебрятся огрызком месяца. Бархатный и необъятный свод неба придавил мой городишко.

Мысли юношеские о победах. О том, как развернется полная жизнь, когда вдохновенной игрой станет труд и человек человеку понесет радости… Когда настанет Новый План человеческого существования… И я, конечно, все сделаю, для моих сил возможное, чтоб быть передовым борцом за счастье человека…

Небесный свод делается для меня проницаемым, уже ритмуется кровь с полетом земли.

Все возможно. Нет границ осуществления моей мечты.

Спящий городок делается мне милым с его обиходным трудом и отдыхом и временными невзгодами…

И вот в это время раздастся вдали и понесется над крышами вой женщины.

Если бы это был не человеческий голос!

Если бы это была не мать, не сестра, не дочь!..

К снова захлопнет сверху бархатным сводом, задушит зноем июля, и некуда деться и нечем помочь, и сам внутри начинаешь скулить, зыть от жалости и страха перед кошмарами жизни.

Прасковья Ильинична не растерялась, оставшись вдовой.

— У нас, баб, волос длинный, да ум короткий, — говорила она охаживавшим ее дельцам. — Так вот я тебе, батюшка, и скажу коротко: о твоей выгоде мне хлопотать расчету нет, а моя выгода требует следующего…

Она отлично ликвидировала предприятия, сохранив целиком только хлебное дело, и стала жить для сына.

Болезнь ли покойного отца отразилась на мальчике, но он рос хилым, что, может быть, и помешало ему получить более прочное, чем то, которое он имел, образование.

Дмитрий Семенович ничего не унаследовал от отца, кроме богатства. Он вяло, нерешительно вел из-под рук матери дела. Был скуп нехорошей, не коммерческой скупостью, и оживал, кажется, только на охоте да в игре в карты.

На этой почве бывали нередко у него ссоры с матерью.

Живая, решительная старуха хотела бы, казалось, перелить в жилы Митеньки свою собственную кровь, но сын молчал долго на все ее назидания и в первую подлиннее паузу уходил в свой кабинет. Оттуда он давал распоряжение о запряжке лошадей и уезжал за Волгу и пропадал там по многу дней. Иногда присылал оттуда кучера за охотничьими принадлежностями и продолжал там же, в заволжских займищах, гоняться за волками и лисами и дуться в карты с помещиками.

Не считая неразрезанных книг и журналов, которые я украдкой от хозяина вскрывал, — другого участия в моем росте молодой Махалов не принимал.

Теперь задержу несколько мое внимание на вызове в память самого дома.

Дом-усадьба Махаловых выходил на три улицы Огромный сад обнимал сзади и с боков деревянный, колоннованный, с мезонином и антресолями дом, выходивший фасадом к Махаловскому бульвару.

Густые, высокие сосны, росшие по фасаду дома, отделяли его от улицы.

Дубовые, в каменных столбах ворота вели на мощенный булыжниками двор с раскинувшимися по нему кладовыми, погребами и службами.

Против дворового фасада дома был двухэтажный каменный флигель с хозяйскою и людской кухнями в нижнем этаже… Посреди двора помещалась «приказчичья» кухня в деревянном шатровом доме.

Замыкая передний двор, шли поперек его каретник, конюшни и сеновалы, отделявшие своими кирпичными массивами этот жилой двор от заднего, выходившего на противоположную улицу воротами для подвоза хлеба.

Здесь были амбары и закрома для пересыпки зерна.

Для входа в хозяйский дом редко пользовались уличным парадным ходом, — главный же вход был со двора с открытой террасы.

Широкая одностворчатая дверь на блоке, обитая черной клеенкой, вела в низкую полуэтажную прихожую с одним окном сбоку, выходящим на террасу.

Передняя была перегорожена большим платяным шкапом, за которым у стены помещалась кровать моей матери, а между кроватью и шкапом на полу стлалась на ночь моя постель.

По другую сторону шкапа жил Рапо, старая охотничья собака. Вместе с холодом при открывавшейся двери низом шкапа приходили ко мне звуки храпа, чесания и блохи.

С Рапо мы были дружны — впоследствии он явится моей первой моделью при начале моей работы с натуры.

У наружной стены, у окна, стоял стол, за которым пройдут годы моих чтений, писаний и начало рисования.

Из прихожей налево вела дверь в кабинет Махалова.

Этот кабинет с ореховой отделкой сразу говорил о неуюте хозяина, в особенности письменный стол с разбросанной по нему дребеденью не был сжит с потребностями и занятиями его обитателя.

Изрешеченные пулями монтекристо стены, охотничьи принадлежности и неразрезанные журналы, валявшиеся вперемежку на неудобной мебели, дополняли картину неуюта и безвкусия, а как недоразумение приткнутая к стене стояла фисгармония — полный очарования для меня инструмент. Дмитрий Семеныч очень редко играл на нем одним пальцем одну и ту же мелодию из Глинки: «Страха не страшусь, смерти не боюсь» — и подпевал при этом фальцетом и без слуха.

Из прихожей прямо вела дверь в длинный коридор-буфетную. Налево были столовая и гостиная. Направо коридор приводил в комнаты и спальни старухи и ее сына, выходившие в сад.

Комнаты дома резко отличались от орехового кабинета сына: оклеенные матовыми однотонными обоями с тропическими растениями, отражавшимися в блестящем паркете пола, они

давали впечатление простой и вместе с тем торжественной обстановки, а чистота, чувствуемая на каждом завитке мебели и на каждом листе растения, говорила о любовно устроенном жилище. Это был вкус матери.

Из коридора вела винтовая лестница на антресоли, где жили меняющиеся родственники Махаловых. С террасы туда же вела широкая лестница и продолжалась на мезонин и до чердаков. В мезонине был ряд нежилых комнат, наполненных всяческим родовым хламом: поломанными детскими игрушками, треснутым фарфором, коврами, изъеденными молью, бронзой и калеченой мебелью.

Чердак дома был грандиозный: здесь понималась деревянная мощь этого дома. Освещаемые через слуховые решетки, проходили чердаком необъемные балки, перекрытия с углами тьмы и переходами через них и под ними.

Я долго не решался забираться в одиночестве на чердак: нежилая, конструктивная архитектура охватывала меня страхом — из любых ее углов могли, казалось мне, явиться свойственные ей обитатели, подобные еще незнакомым мне в то время химерам Notre Dame в Париже.

Чердак был укрыт железной крышей очень сложной системы с флюгерами на трубах и со слуховыми окнами, украшенными кокошниками.

Кухня, хозяйская и людская, помещалась в нижнем, полуподвальном этаже каменного флигеля.

Кухня с огромной русской печью и плитой для хозяйского стола возле была центром дворни. За печью были нары. Летом дворня жила по каретникам, сеновалам, и только за столом наполнялись оживлением своды помещения. Зимой нары кишели живущими на них.

Всегдашними обитателями кухни были кухарка Васена и слепой Никанорыч — старик, без счету лет, бывший караульщиком с основания дома и оставленный хозяевами доживать свой темный век. Как не нуждавшийся в свете, Никанорыч помещался в самом темном углу за печью и проводил время в шепоте молитв и в хлестании время от времени вокруг себя лестовкой: норовил он попасть по слоняющемуся нарами бесу, который сильно одолевал слепого, отвлекая его от молитвы то смешной песенкой, то щекоткой. Ближе к свету, вровень с выступами печи, спала кухарка.

Стол был громадный, чтоб разместить по скамьям вокруг него полтора десятка лиц, обслуживающих дом Махаловых.

Приказчики жили в приказчичьей кухне, садовник — у погребов за прачечной. В каретнике были пристроены летние

каморки для кучеров и конюха.

В конюшнях за железными перекладами ржали и звенели копытами лучшие в городе, кровные махаловские кони: одиночки, дышловые парные и тройка с бешеным серым коренником, управлять которой и мог только один Александр Васильич — личный кучер молодого хозяина.

Для одиночек был другой, «хозяйкин» кучер Стифей Иваныч.

Коровами и птичником ведала Фекла — добрая пожилая дева. Кормит Фекла птиц. Усядется на корточках среди них; сарафан раздуется по земле. Фекла сама как клушка: цыплята роются в складках сарафана, лезут под него. Фекла как в забытьи; на лице застыла улыбка, не то материнская, не то девичьей влюбленности.

Басильич, оторвавшись от лошадей, смотрит на Феклу сзади, сощурит в улыбку здоровый глаз и закричит:

— Эй, Фекла, ты вся смокла…

Фекла ахает, вскакивает от земли, отряхивает сарафан от воображаемой воды — потом, что Васильич подшутил над ней — кинет ему:

— Ну тебя, плешивый!

Но забытье уже разлетелось прахом, и Фекла делается снова деловито-заботливой. Эта шутка все с такими же результатами повторялась много раз.

Собак было много во дворе.

Сворой тонкомордых, охотничьих ведал Васильич, так как он был одновременно и егерем.

От каретника до сеновала на цепи ходил огромный волкодав Купец; невзирая на страшную внешность с колючей шерстью, это была добрейшая собака, а если и страшная, то своими ласками: когда она, встав на задние лапы, клала человеку на плечи свои передние, то под их тяжестью даже взрослый опускался на колени.

Без цепи одна из сторожевых собак жила под навесом кладовых. Змейка, как ее звали, была незаменимым сторожем.

В ее собачьей карьере числилось два пойманных вора: одного из них она задержала за штаны до прихода людей. Картина была интересная: щуплый воришка висел по ту сторону забора, а Змейка на штанах, вцепившись в сиденье, висела со стороны двора.

Змейка трогательно была привязана к своему ночному хозяину караульщику Михалычу.

Кошек не полагалось ни одной на всей территории дома. Нелюбовь Прасковьи Ильиничны к кошкам была настолько сильна, что поступавшим в услужение вменялось не иметь и не

привечать их. С крысами и мышами боролись западнями, битым стеклом и мором.

Когда мне было девять лет, появились еще живые существа, составлявшие мой зверинец. Это были: ястреб, привезенный Васильичем с охоты; у него было слегка повреждено крыло, которое мне удалось залечить бинтованьями перьев.

Второй был сурок, пойманный дядей Ваней на покосе, и третий — удод, захваченный мною в гнезде на острове. Поместил я их под навесом кладовых, в отдушинах наружной, для просушки кладовых, печи.

Ястреба сделать ручным мне не удалось, хотя он и ел с моих рук и уже не клевал мои пальцы, когда я убирал его клетку. Сурок прогуливался по лежанке печи, по постели Михалыча и снова забирался в клетку. Погубило его или праздное любопытство, или желание совершить побег. Змейка относилась к моему сурку с особым вниманием. Когда сурок выходил из клетки, Змейка хоть и старалась не глядеть в его сторону, но ее ноздри шевелились, вдыхая запах зверька, и слышалось нервное, нежное скуление сдерживаемого интереса к моему питомцу. С собакой была условлена неприкосновенность сурка на лежанке, и последний обычно не нарушал этого договора; на этот печальный раз зверек соскочил с печи, полочкой пробежал до наружи, сел на задние лапы и завозил носом, втягивая садовый воздух. После этого он прыгнул вниз и направился по ступеням на мостовую двора.

Я бросился за сурком. Этого только и ждала Змейка, чтоб помочь мне: в два прыжка настигла она беглеца, и в ее челюстях хрустнули сурочьи кости…

Что касается ястреба — он улетел во время чистки клетки. И когда после этого стали пропадать со двора цыплята, в дворне стали поговаривать, что это работа моего Яски (так я прозвал ястреба).

Перейду к судьбе моего последнего питомца. Удод был моей гордостью. Я брал его с собой на прогулки, — удод сидел на моем плече, взлетывал, делал надо мной круги и снова садился на плечо.

Сгораемые завистью мальчишки делали попытки отбить от меня птицу, и когда я удирал от их нападений, удод, блестя лучистой коронкой-хохолком, следовал за мной. Разлука моя с моей птицей была вдвойне горькой. Разлука эта произошла так.

Удод был со мной в саду. Я выпалывал гряды, он летал кругом меня, садился на мою голову, перелетал на ближайшие ветви, чистил перья, радуясь небесной синеве и воздуху.

От полки меня оторвал хорошо мне знакомый клекот ястреба. Когда я вскинул голову, я увидел сорвавшегося ко мне с ветки

удода, а над ним — падающего следом хищника. В один миг мой милый удод очутился в его лапах.

Одновременно меня поразил знакомый вид ястреба.

— Яска!.. — закричал я во весь голос.

Ястреб резко остановил взлет на вершине вяза саженях в восьми от меня и посмотрел в мою сторону. Сомнений больше не оставалось — я узнал Яску, — это был он.

Еще миг — и бандит развернул пятнистые крылья и взвился кверху через сад, в горы…

Редко бывают в детстве такие сложные больные ощущения, которые я пережил от этой трагедии предательства, несправедливости и жалости.

* * *

Урну с водой уронив, об утес
ее дева разбила…

Пушкин

Махаловский сад выходил на три улицы.

Параллельно заднему двору разбит был огород с оранжереей и подвалом-гротом для не переносящих в открытом виде зиму растений. Здесь же по Миллионной улице, вдоль забора, помещалась площадка для игр и беседка. Продольные и поперечные дорожки резали сад на бесчисленные газоны и клумбы с лесными деревьями, в которые были вкраплены груши, сливы и черешни. Фруктовые деревья были рассажены здесь скорее для аромата во время цвета их, потому что специально фруктовый сад у Махаловых имелся в горах.

Цветники увеличивались и становились роскошнее по мере приближения к дому.

У виноградной беседки были клумбы с высокостебельными цветами: кусты роз, георгины, тюльпаны и подобные им, дальше к дому цветы были скомпонованы и по запахам и по нюансам; у дома перед фасадом спален раскинут был главный цветник, окружающий бассейн с фонтаном, единственным и потому легендарным в городе. Струя воды била из раковины, в которую дул металлический мальчик. Мальчик сидел на подставке, запрокинув головку с курчавыми волосами, и весь отдался выдуванию этой струи, сверкающей на подъеме и дождем падающей обратно и на мальчика, и на водяные растения бассейна.

Я думаю, если б не было за спиной моей пляшущей лошади Фальконета, то на эту статуэтку фонтана я бы, пожалуй, не обратил внимания.

Для многих из окружающего меня люда эта фигурка из металла была «статуй идольский», «голыш бесстыдный», и меня, я отлично помню, обижало такое отношение людей к странному существу, драгоценившему воду, бриллиантами разбивающему ее на брызги. Вода, благодаря этому, низлагалась передо мной в характерных и редко видимых в природе функциях… Блеск и напряжение струи и ее ленивая, раздумчивая остановка на вершине подъема и дождевой спад назад, книзу — делали воду живой, а все это делал мальчик. Я радовался, не ища и не умея

еще искать разъяснений о действии искусства, о действии вещей, не природой, а человеком сделанных. И уже после этих впечатлений я стал замечать узоры на одеждах, на чашках, деревянные украшения на фасадах, цветные рисунки Андрея Кондратыча и тутинские иконы.

Возле фонтана была большая площадка со сбегающими на нее дорожками. Здесь пились чаи. В душные ночи, при съезде гостей, сюда подавались карточные столы. После игры подавался ужин. Среди темной густоты сада блестели огни остекленных фонариков, и, удивленные светом, крутились над ними стаи мотыльков, а иногда и летучая мышь, привлеченная белизной скатертей, слепо шарахалась над столами.

Освещенные лица с черными обрезами, гримасы, прыгающие силуэты и тянущиеся по деревьям тени делали для меня действительность неузнаваемой, и говор с выделяющимися словами и фразами приобретал значение, не похожее на дневное.

Любил я наблюдать ночных людей.

Дворня спит, Я знаю, двором из конюшен и жилищ несутся храпы, а здесь передо мной чуждая этим храпам жизнь.

Лежу я у виноградной беседки на лавочке. Сзади меня темная тишина — назад оглянуться страшно, а впереди, за кустами роз и тюльпанов, прыгающие, как свет и тени, говор и смех…

В любую летнюю жару было прохладно и ароматно в этом саду, где от весенних проталинок до золотых, багряных осенних россыпей листвы находилась мне работа.

Много овощей и цветов, ухоженных моими детскими руками, произвел этот сад. Здесь я на ощупь, вплотную научился понимать законы роста и цветения растений, прихоти развертывавшейся розы и готовую к лопанью почку и борьбу с земляными условиями кочна капусты.

И здесь я получил ощущения цветовых спектров в переливах и перекличках между кровавыми бегониями, нежными левкоями и пестротою анютиных глазок.

Здесь, любовью человека поощренный, разлагался во всех нюансах солнечный спектр в лепестках, венчиках и в шапочках цветов и вспыхивал пурпуром, синевою и желтым на корпусном сложном, зеленом цвете листвы.

Глава тринадцатая
ДВОРНЯ

Утром около восьми часов пили чай.

Чай и сахар дворовые получали помесячно — пайками.

К большому столу, с двухведерным самоваром посредине, сходились каждый со своей посудой и с коробочками, содержащими разные снадобья и приправы к чаю. Чай заваривался в складчину, но были и такие, вроде Стифея Ивановича, кучера, которые имели свои чайники.

К чаю полагались пшеничный хлеб (ржаной хлеб вообще не употреблялся и даже не появлялся на базаре в Хлыновске в ту пору) и топленое молоко.

Стифей первый бросался за пенкой, покрывавшей молоко. Это был всем известный лакомка, у него всегда имелись к чаю соблазнительные для меня лакомства: то лакрица, то дивий мед, то сладкие стручки. Он дробил эти сладости на мелкие куски и клал их в жестяную с крышкой кружку, из которой пил чай.

— Ну, мои сиротики, промоем животики, — говорил Александр Васильич, кучер хозяина, человек всегда веселый и ласковый ко всем. При шутках, до которых он был любитель, он подмигивал одним глазом и открывал улыбкой щель во рту от нехватавших двух передних зубов.

И глаз и зубы Васильич потерял на охоте. Бельмо на глазу он получил в ночное время, пробираясь чащей леса и наткнувшись на сучок. Зубы выбил об голову волка: под пьяную руку он не рассчитал силы своего падения на загнанного зверя и хлопнулся лицом на волчий череп. Васильич рассказывал:

— Шутник, матерый, попался: я его за уши держу, а он целоваться лезет… Ушами вырвался, да и хлоп мне горшком своим по зубам… — Чую — во рту каша плавает, радугой из глаз посыпало… Ну и обозлился я в этот раз на тварь бессловесную: разжал рукавицами пасть волчью, да и плюнул в нее, в кадык самый, с зубами вместе.

На охоте были Васильичем отморожены и лицо и руки. Меня, помню, удивляло и восхищало, как он брал из плиты уголь прямо пальцами и не спеша начинал раскуривать трубочку с медной ажурной крышкой. Раскурит махорочьи корни и так же не спеша бросит уголь обратно в печку. В Васильиче даже щель во рту от выбитых зубов была предметом моего восхищения, такой он был мастер сплевывать сквозь это отверстие: трубка сбоку, а он сплюнет серединой рта в любую цель, будь то зазевавшаяся на

полу муха или выпавший из плиты уголек.

Я любил слушать его рассказы. Бывало, особенно зимой, после ужина начнет он небылицы былями делать. Я таращу засыпающие глаза, чтоб не проронить чего из Васильичевой повести. Да и сама жизнь его своими событиями путала были с небылицами, и его правдивые события были куда невероятнее выдуманных.

Лошадей и собак Александр Васильич любил до самозабвения: возвращаясь часто холодный и голодный, он не брал куска в рот раньше, чем не удовлетворит и тех и других, но зато и животные платили ему любовью.

Был такой случай. Пьяный свалился Васильич в сугроб далеко от жилья, а на рассвете проезжие мужики напали на такую картину: пристяжные и коренник сгрудились возле него, лежащего в снегу; сука Лютра и кобель Стрелок вытянулись брюхами на его теле и выли, отогревая своего любимца. Вероятно, благодаря такому уходу за ним животных Васильич не окоченел окончательно.

В другой раз осенью, непробудно пьяный, завяз он с лошадьми в овраге. Сгубил бы, наверно, себя и лошадей, если бы как обезумевшая не примчалась во двор Лютра с шапкой Васильича во рту и стала скулить и метаться по дворовым… Отрядили верхового, и собака довела его до места, где завязли лошади с храпевшим в тарантасе кучером.

Такие случаи были нередко с Васильичем.

Вызовет обычно после подобной истории Прасковья Ильинична кучера, сделает строгое лицо, приготовится распечь его… А Васильич, с шапкой в руках, блестит коричневой лысиной, с виноватой улыбкой на багровом, отмороженном лице — такой добродушный, трогательный с его человечностью во всех чертах, что хозяйка теряет приготовленный тон и уже жалостливо обращается к нему.

— И что же ты наделал, Васильич?

— Виноват больно я, — отвечает он. — Никакого прекословия против вины моей не имею, Прасковья Ильинична.

— Ведь ты можешь так и Митеньку вывалить да заморозить.

— Никак нет, Прасковья Ильинична, этого быть никак не может… С Митрем Семенычем я всегда на полном чеку бываю и смотрю в оба… — Он забавно при этих словах почешет лысину.

— То бишь не совсем в оба, а в один глаз, но зато полностью.

И действительно, хозяина Васильич оберегал не меньше собак…

Итак, Васильич пускал за чаем шутку, чтоб рассеять впечатление на окружающих от Стифеевой жадности ко всему

сладенькому. Эту слабость все знали, но по свойственной мужикам артельной этике старались не замечать: старик, мол, всех нас старее годами, а старый, что малый. Мужики сидели вдоль стены спинами к окнам, а женщины и я среди них с матерью — на скамьях против света.

В углу под образами сидел слепой Никифорыч. Рядом с ним караульщик Михалыч, чернобородый, с проседью, с нависшими сурово бровями и с длинными усами, стелющимися над бородой и скрывающими губы и рот. Когда он пил чай, в блюдце веером плавали его усы, которые он аппетитно и звучно обсасывал после каждого допития блюдца. При пугающей наружности Михалыч был внимательный и мягкий человек ко всем.

Вскочишь, бывало, ночью. Он с палкой на ступенях у кладовых сидит Возле него Змейка растянулась — блох ищет.

— Аль это ты, — окликнет Михалыч, — живот, что ль, прихватило?… Ну, ну…

Присядешь возле него.

— Ты что это, миленок? Ты бы спать шел…

А мне интересно, необыденно все кругом: спит дом, а бодрый Михалыч сидит себе, и в сон его не клонит. В саду тьма. Ни за что, кажется, носу бы не просунул в калитку, в пустой ночной сад…

— А как ты, Михалыч, не боишься? — спрашиваю.

— Чего же бояться, да еще в городу: зверев тут, чай, нет.

— А темнота?

— Да где она, темнота? Глянь поверх головы — столько тебе огнев, что и счесть невозможно. А если насчет злого человека — Змейка не допустит, уследит. Собачья тварь, она до всего носом доходит, от нее не укроешься.

Разговоры за чаем вертелись обычно возле ночных впечатлений.

Никифорыч встревал в разговор, описывая свою битву с бесом:

— Хлестну его по морде, а он уже с правого плеча примостится…

— Ох, Никифорыч, — скажет с сожалением Фекла-птичница. — Я, чай, мерещится все это тебе, болезный.

— Никак ему с правого плеча быть не приходится, — поучительно вставит Стифей. — Потому справа ангелу полагается.

Никифорыч заволнуется.

— Врать, что ль, я буду при летах моих. Уши-то мои, вот они, при мне: слышу, знать, как он справа ноздрей дышит…

— Ух, — взвизгнет Васена-кухарка, — пресвятая Богородица,

страх какой, я ведь рядом лежу.

Ерошка, мой товарищ по работе в саду, смешливый парень лет пятнадцати, не сдержится — фыркнет.

— Дубина, растямил глотку, — заворчит Никифорыч и замолчит до конца чая.

Куприян Савельич, садовник-ученый из киевского садоводства, выскажет свое мнение.

— Видения и сны больше от желудочного неварения бывают…

Этим замечанием дворня ухватится за сны. и начнутся рассказы на эту тему.

Стифей Иваныч, оказывается, верхом на корове от бани до погреба всю ночь ездил.

Ерошка брызнул смехом и слюной в бороду Стифея попал…

— Ах ты, жеребец из кобыльей породы, — взорвется Стифей, и ломтем хлеба он норовит запустить в Ерошку, тот, подобно ужу, соскальзывает под стол.

— Прости парня, Стифей Иваныч, — на смешные дела его мать родила, — умиротворяет Васильич Стифея и вспоминает свой сон.

— К чему только сон такой? Будто вызывает меня хозяин в кабинет к себе… Ну, я и пришел будто к нему, да взглянул себе под ноги, а на мне штанов нет…

За столом засмеялись.

— К стыду это тебе какому ни есть, Васильич, — болезнует Фекла.

— Ох, людыньки, к чему только мой сон, — зажеманится Васена и плутовски стрельнет глазами на Стифея. — Будто я… — Васена сделает смущенный вид, закроется фартуком, и только ее нос пуговкой задорно торчит наружу… — Будто под венец святой собиралась…

За столом даже все крякнут.

Дело состояло в том, что Васена имела виды на Стифея. Старик слыл богачом. В его кованом сундуке под постелью в каретнике, говорили, имелось до двухсот рублей денег. Васена всеми способами хотела женить на себе богатого старика. Стифей потерял голову от всех ухищрений молодой задорной женщины. Тайком назначена даже была свадьба. В эту путаницу пришлось вступиться самой Прасковье Ильиничне для уговора старика не делать глупости и стыда перед Стифеевыми внучатами, из которых каждый был не моложе Васены. Дворня над этой интригой много смеялась потихоньку от Стифея.

Пришел дядя Ваня, опоздавши к чаю.

— Приятного аппетита, — говорит он.

— Милости просим чай кушать, — отвечают за столом.

— Ну как, Иван Пантелеич, взаправду, что ль, разговаривать будут?

Дядя Ваня и сам взволнован предстоящим событием. Улыбаясь, он отвечает спросившему:

— Установляем. Ремонтщик говорит — все ладно идет. Колокольчик уже пробовали, — звонит.

— Колокольчику что не звонить, — говорит Стифей, — натяни веревку хоть через весь город…

— А голосом еще не пробовали? — спрашивает Иван-конюх.

— На будущей неделе установка трубок, — отвечает дядя.

— А кто по нему говорить-то будет? — спрашивает Васена.

— Кому же, как не бесу, — отвечает как бы себе Никифорыч.

— Кто про што, а шелудивый про баню, — на высокой ноте бросает Васена.

— Не брыкайся. Бесы-то с твоей кровати шмыгают по запечке, — рассердился Никифорыч и ощупью выходит из-за стола.

Эти перебросы как бы в сердцах не мешали Васене ухаживать за слепым: выпаривать вшей, менять и стирать белье старика и печалиться над ним о «слепом горе», о «темной долюшке» Никифорыча.

Свернутый в сторону разговор выправляется младшим приказчиком:

— Особенного, удивительного в этом не встречается. Вот, например, взять, есть стекло такое — зажигательным называется… Его наставить на солнце — оно и зажигает… А ведь солнце рукой не достанешь.

— Ну? — вскидывая скобкой волос, удивляется Иван.

— А оно, может, и спичку подставляют? — вступает в разговор Брошка. — Я, лопни глаза, на ярмонке сам видел, как один у мужика семишник из носа вытащил.

Приказчик обещал выпросить у земского писаря такое стекло и показать его действие присутствующим. Разговор, перебросившийся к зажигательному стеклу, происходил по поводу устанавливаемого Махаловыми примитивного по тем временам телефона для переговоров с Узминым, доверенным Махалова по хлебным операциям и жившим улицы через три от нас. Интерес к телефону заключался главным образом в том, что никто из дворни не верил в возможность переговоров, хотя бы и «через проволоку», на такое большое расстояние, а во-вторых, к этому примешивалось желание провала этой затее, как выдумке грамотеев. На случай же, если «разговорная проволока» осуществится, то, чтобы не быть одураченными, у некоторых из

мужиков возникли упрощающие это дело мысли.

Иван-конюх, здоровеннейший мужик, о котором говорили, что от силы и здоровья у него все мясо хрящом проросло, так Ивана осенила такая мысль:

— Знаете, мужики, я так думаю, что это самое говоренье и очень даже возможно… К примеру сказать — ежели мне да рупор, которым с парохода разговаривают, да ежели я в него голос подам, так, чать, у амбаров будет слышно. Да что — амбары — с Малафеевки народ сбежится, ежели я удобно голос подам…

— Беспременно сбежится, — чтоб не обидеть Ивана, утешительно сказал Михалыч.

Интерес к телефону перерос нашу кухню — в городе об этом тоже немало было толков.

Замелькала в головах тень старика Махалова. Говорили:

— Ну, оперился Махаловский сынок… Он себя покажет… Он-те по воздуху линию вытянет, Митрий-то Семеныч.

На следующий же день после изложенных разговоров и после обещания, данного дворне, приказчик принес завернутую в бумагу в несколько слоев, а сверху в тряпку лупу. Завернул он ее так из предосторожности: потому — по солнцу шел, так чтоб карман не прожгло с ногой вместе…

После обеда собрались у каретника на самом припеке. Приказчик стал медленно развертывать магическое стекло. Мужики, а особенно бабы, отошли от греха подальше, образуя круг.

Стифей дальше наслета каретника не двинулся, но зато здесь в полном бесстрашии, уперев руки в бока, рассчитывая, что его видит Васена он хозяйственно заметил приказчику:

— Панкратыч, может быть, воды заготовить? Не спалить бы каретник…

После стольких приготовлений и ожиданий результат оказался самым плачевным: закоптилась дощечка, потом пошел от нее легкий дымок. Стали подкладывать руки — горячо.

— Не иначе, как в нем огонь залит, — заключил Иван. Смельчаки стали трогать стекло руками, — оно оказалось холодным. После этого у дворни пропал весь исследовательский пыл.

— Херовина какая-то, только не настоящая, — добродушно резюмировал Васильич, — пойти соснуть после обеда.

— Кабы без солнца ожог делался, ну тогда еще… — громко зевая, сказал Иван, следуя за Васильичем в конюшни.

Приказчик, недовольный малым эффектом зажигательного стекла, завернул его уже в одну только тряпку и, кладя в карман, укоризненно сказал оставшимся возле него мне да Ерошке:

— Темнота это только ваша мужицкая, а вещь эта очень стоящая…

— Дак ведь стекольная она, Василий Панкратыч, ударь, к примеру, ее об стену, она тебе и вдребезги, — с гордостью, потому что его назвали мужиком, сказал Ерошка.

Наконец телефон был установлен. Дядя Ваня, принимавший непосредственное участие в оборудовании, был радостно удовлетворен победой над пространством.

Он объяснял, как умел, за обедом принципы передачи голоса, употребляя непонятные технические слова, которые и сам с большим трудом усвоил и которые мало что-либо разъяснили дворне. На одном только слове зацепилось внимание — это на «магните».

— А-а, — раздалось среди присутствующих за столом. — Если магнит, тогда пожалуй… Он железо притягивает. Ему что человеческий голос.

С магнитом, конечно, в наглядном и очень широком масштабе нас ознакомил заходивший погостить к племяннице Феклин дядя, старый морской служака.

— Магнит — это, ребятки, штука особенная и даже может зловредие учинить, — рассказывал он. — К примеру, плавали мы чужими землями… Пришли в заморскую гавань, ну, пристань, сказать такую. Постояли там, сколько надо, водой и провиантом запаслись, и только бы отчаливать, а в этом случае на корабль шасть черномазый такой… Ну, вроде начальника ихнего… Они там все, хошь губернатор самый, а рожи у всех потемневшие… Подымается он на мостик, к командиру нашему, и ну лопотать: ке-рекуля, ме-рекуля, — это он по-ихнему, значит.

А наш командир все языки, какие ни на есть, превзошел: на одно слово — пять слов отрезает и хоть бы что. Поговорили это они промеж себя и тем отход наш отсрочили… На деле и оказалось, что начальник ихний приезжал предупреждение сделать по такому, стало быть, случаю, что на море этом оказался под водой магнит огромнейший и все корабли с пути сбивает… Присосет фрегат там какой али что и почнет из него все какие ни есть гвозди вытаскивать: корабль по швам разлезется, и гибель человеческая наступает… А железо, которое в корабле бывает, все на дно уйдет… Вот он магнит какой бывает, — закончил рассказ о магните старый моряк.

Мужикам это очень понравилось.

— А как же вы дальше поехали, дедушка? — спросил моряка Ерошка.

— Дорогу на другую румбу взяли — так и поехали… Этот магнит, заслуживший доверие дворни, упомянутый дядей Ваней,

казалось, мог бы сыграть в пользу телефона, если бы не редкое слово обычно молчаливого Михалыча.

— Иван Пантелеич, я вот все слушаю, а толком не пойму: эта самая разговорная проволока — она и будет голос разносить. Ну, а ежели она поломается — тогда-то будет ли слыхание?

— Нет, не будет, — отвечал дядя.

— А коли так, то и выходит, что дело это не человеческое, а проволочное…

Дворня загудела. Коряво изложенная и по-разному, пожалуй, понятая, но Михалычем была высказана их основная мысль.

— Ох, Пантелеич, — жалостливо говорит Фекла, — уж не грех ли какой, что ты проволоке этой потрафляешь?

— Да ведь магнит работает здесь? Ведь проволока, она только передатчик? — уже с некоторой тоской обратился дядя Ваня к мужиковской половине.

— Э, магнит… — загудели опять все разом. — Да, магнит… — Магнит, тот сам из себя работает… Это планида эвонная. Ты человечью планиду уважай…

Несмотря на такое предрасположение к проводке, дворовые по-детски ждали, когда их позовут к разговорному аппарату. Наконец в один из дней моя мать, явившаяся к чаю, сообщила о позволении прийти дворовым поговорить по телефону, только чтобы явиться не всем разом. Мужики решили пойти.

Первым к аппарату подошел Васильич.

Соединение уже было дано. Васильич приставил трубку к уху. Все смолкли.

— Слышно, что ль? — зашептали сзади.

Васильич осклабился и заговорил не в приемник, а куда попало:

— Эх, экень ченоха… Да ты настоящий? А?… А?… Чего?? — завопил не своим голосом Васильич и смолк. Передавая дяде Ване слуховую трубку, он сказал:

— Держи, Пантелеич. Это, брат, похуже зажигательного будет.

Стифей, узнав о слышимости переговоров, счел себя одураченным, повернулся к выходу и произнес почти со злобой:

— Иван, айда лошадей чистить… — и ушел. Но Иван еще петушился:

— Не иначе подвох… Голос-то будто узминского приказчика — так ведь его и подменить можно. Вот ежели бы наш какой из трубы голос подал.

Ивана уже никто не слушал. Телефон оказался если не хуже зажигательного, то, во всяком случае, не лучше его.

Михалыч по-своему, но, кажется, довольно верно и за всех

определил впечатление от телефона:

— Скучно больно от него сделалось.

Помню, телефонное событие очень скоро захирело и у самих Махаловых. Говорить оказалось не о чем. До первой порчи еще им пользовались, но исправить порчу ни у кого уже не нашлось интереса. Вскоре зачем-то потребовались столбы для дома — часть их была вырыта и пошла в дело, а вслед за этим и остальное оборудование с оставшимися столбами было продано почтово-телеграфной конторе за бесценок…

Стоял я однажды на берегу Волги с мужиком из уральских степей. Мужик этот никогда не видал не только пароходов, но и самой Волги.

Из-за косы в это время выплыл на нас, как белое чудовище, со своими машинными шумами, пароход. Мужик схватил меня за рукав.

— Глянь-ко, глянь-ко! Леший те пришиби, да как он плывет-то?

— Машиной, — говорю я, — видишь, машина колеса вертит, колеса загребают воду, он и двигается.

— Машиной?… — протянул мужик. — А я думал, это он сам. И сразу перешел к прерванному разговору: — Так что, посеял я, значит, белотурку…

Долго я не мог уяснить себе сущности таких отношений народа к механическому, но я с детства чувствовал, что не от варварства и не от безграмотности только существуют такие отношения мужика к механическим чудесам, и мне всегда казались пошловатыми восторги средних классов к такого сорта открытиям, хотя бы это и касалось подводной или воздушной лодок.

Обедали в двенадцать часов.

Звонили на соборной колокольне или нет, а если солнечные часы показывали полдень, Стифей мыл руки, и люди с дворовых работ направлялись в кухню.

За стол не сразу садились, а поджидали общего сбора обедающих. Потом крестились на киот. Староверы, выждав окончания молитвы православных, клали свои истовые поклоны, после чего все усаживались на свои места.

Перед чаем крестились врозь, наспех: чай — напиток грешный, им особенно хвастаться перед иконами не к чему.

Ели из общей миски. В суп или щи крошились куски мяса, которые до условленного знака нельзя было брать. Жидкость съедалась. Миска доливалась снова. Тогда Стифей, как-то незаметно, очевидно, по летам получивший право старшего за столом, ударял ложкой по краю миски и произносил отрывисто:

«Таскать». Ложки начинали вылавливать начинку. К чавканью присоединялся хруст хрящей и мяса. Жаркое, накрошенное порциями, елось в таком же порядке. На третье на стол подавалось большое, глубокое блюдо молока: каждый начинал крошить в него недоеденный хлеб, пока в блюде не получалось больше хлеба, чем молока. Стифей уминал ложкой куски хлеба, помогая им набухнуть. Затем делал удар в блюдо и произносил: «Таскать».

Ели чинно, в порядке, не спеша. Вообще за едой почти так же, как за работой, узнавался человек с его общественной культурой или отсутствием ее. Были, конечно, обжоры, но и они как-то сливались с общим порядком уважения трудового люда к хлебу насущному и к тому поту, с каким он добывается.

Бросить на пол кусок хлеба считалось великой неучтивостью — этим поступком до глубины оскорблялось мужичье чувство.

Летом на третье давались ягоды, дыни или арбузы. Резкой арбуза занимался дядя Ваня. Он брал арбуз, высказывая свои предположения насчет того, каким арбуз будет.

Первый надрез напрягал внимание у присутствующих. И когда раздавался хруст под ножом растрескиваемого арбуза и в зигзагах трещины появлялось пурпуровое мясо, за столом произносилось общее «а-а», выражавшее удовлетворение. Радовались даже те, которые предсказывали арбузу быть плохим.

Семечки от арбуза тщательно собирались и сдавались садовнику, который производил им окончательный отбор.

Кстати, семечки от дынь и арбузов собирались всеми горожанами, просушивались и продавались бакчевникам Хлыновска, ибо считалось, что только семена местной выращенности дают настоящий урожай, и потом, несмотря на то, что семечки, особенно арбузные, были всегда в хорошей цене, это собирание семян скорее было общественной повинностью, нежели желанием заработать. Зато, бывало, при слабом урожае и дурном качестве овощей бакчевники добрую половину вины за это складывали на сограждан «Отбор плохой делали. что посеяли, то и пожали…»

Ужинали около восьми часов вечера.

Это было самое оживленное и самое интересное для нас время.

Кончился день. Ныли мускулы, ломило старикам спины, за работой этого не замечаешь, но достаточно наступить отдыху, как усталость дает себя знать… Кажется, как вовремя окончен труд. Как хорошо, что после ужина можно растянуть до хруста в суставах ноющее тело, укрыться, окутать себя своей собственной теплотой и до рассвета оставить заботы.

Но, раз впереди есть отдых, можно не спешить с едой и с разговорами, а самые волнующие разговоры всегда скапливались к вечеру.

Глава четырнадцатая
КОСМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Весна ознаменовывалась для меня ночевками на воздухе. Благовещенье считалось началом этих ночевок — это было одним из старых обычаев деревни.

Не мудрено, что после проведенной зимы в душных избах на печах и полатях, кишащих клопами и тараканами, потянет мужика при первых же весенних теплотах на сеновал или под навес сарая, где в плетюху брошено душистое сено, где по холодку не проспишь начала зари, начала рабочего дня.

Для меня, кажется, нет более мирного воспоминания, как эти ночи возле задумчиво грезящих и жующих животных.

Иногда остановит еду и вздохнет глубоко, протяжно лошадь и снова захрустит сеном…

Звучно шлепнет пометом о настил корова, отрыгнет жвачку, и опять слышно, как трутся боковыми движениями челюсти и орошаемая слюной скользит по ним пища.

Есть глухой ночной момент, когда звуки стихают все. Это перелом ночи. В этой торжественной, напряженной тишине и видимые в прорез навеса звезды, и сама земля кажутся грезящими подобно животным…

Но вот беспокойно вздрогнет петух на нашесте, захлопает крыльями и запоет, отмечая отрезки времени. Пройдет из двора во двор петушиная перекличка. Тявкнет, нехотя, сквозь сон, потревоженная собака, и взбудораженная тишина постепенно снова уляжется над отдыхающими людьми и животными.

Во второй половине ночи похолодает Укутаешься тулупом под самый нос. Запахнет овчиной, и перепутаются с сеном и навозом здоровящие бодрые запахи.

Крепкий сон к утру… Откроешь глаза на рассвете, а уже кругом проснулись. Куры возле меня разбрасывают лапками сенной сор, корова уставилась в наружную дверь избы и ждет хозяйку с дойницей, а вдали, с речного конца, уже слышатся, как холостые выстрелы, удары кнута вызывающего коров пастуха.

Лошадь высунулась над поперечиной стойла и мотает головой, стряхивая с челки застрявшую в ней солому…

Это в деревне, это почти так же у бабушки на Малафеевке, здесь же я сплю на террасе махаловского дома. Здесь предо мною сад и небо между домом и флигелем. Хорошо было спать в бурю, когда расколышатся деревья и хватают вершинами о стену террасы.

Ветры тогда проходят между двумя зданиями. Западные приносили запахи сада. По ним я старался угадывать клумбы, с которых запахи доносились.

Весной удушалось все черемухой, растущей при входе, потом шла полоса сирени, окаймлявшей дворовую решетку. Когда смолкало цветение деревьев, дышалось цветами: то отдельными семьями их, то сумбурными пьянящими смесями.

В саду ежегодно было несколько соловьев. Они и самые ночи делали для меня какими-то звонкими, точно от неба отзвучивались соловьиные трели.

Я знал места их посадок: на вязу, у виноградной беседки, пел густой, сочный голос, в глубине у грота на березе — металлический, как серебряный колокольчик. Уши и нос полны восприятий, а глаза, чтоб не отстать от них, уставятся из-под одеяла в раскинувшиеся по небу звезды…

Тихо проходит для осмотра дома со стороны сада Михалыч. Его валенок почти не слышно, скорее по тякающим когтям о кирпичную дорожку Змейки узнаю я караульщика.

— Михалыч! — зову его шепотом.

— Что, аль не спится? Спи и ты, ишь, воздух какой, легкость одна… — отвечает он негромко и направляется к террасе.

— Михалыч, а что такое звезды?

— Экой ты любознайный, — говорит он, присаживаясь на краешек ступеньки. — Ты больно не спеши, миленок… Погоди, в училищу будешь бегать, так тебя там обо всем известят… Будто про это до донышка в книжках прописано: как и что и откуда взялось… Да вот и со мной было. Жил я у хозяина одного в Заволге, — тоже караул держал… хороший такой был хозяин, простой, а по говору что ни есть книжка какая… Выйдет, бывало, вот эдак на тирасу (только тирасу там балахоном звали), сядет на нем с трубочкой и меня кликнет и начнет сказывать… Промежду всего он больно о звездах небесных любил сказывать: де, хошь их и несусветное множество, а перечесть возможно… Только, видишь, большой счет больно, — бумаге его принять трудно. А звезды эти самые — это, дескать, Михалыч, огромаднейшие, как бы сказать костры, и горят будто они бесконечную Еечнсть…

Михалыч замолчит, и я замолчу, озадаченный необъятной картиной звездной жизни, не замечая улегшейся на моем одеяле Змейки.

Михалыч, как бы сам взвесив, очевидно, не в первый раз невозможную на осмыслив грандиозность, но не желая с ней расстаться, говорит:

— Может, и не так все… Ну, а вот что доподлинно — уж этого я сам достиг: смотри, вон видишь половник с ручкой из

звездов сделан? Так он всю ночь ворочается, а к поутру вон он куда запрокинется над самой головой.

Вопросы космические были одной из почтенных тем бесед дворни.

Астроном, или, как его называли в народе, «востроном», со всеми его аксессуарами греха и безбожия, был для нас магом, вырывающим у природы секреты ее сил. Этот заманчивый образ искателя, так же обреченного на одиночество и гибель, как и деревенского колдуна, не мог не восхищать нас. Пускай, хотя и продал он черту душу, но эта смелость, отчаянность человеческой натуры не могли не уважаться мужиками, а наличие греха в этом уважении давало привкус как бы соучастия в отчаянности. Сказать о каком-либо человеке, что он с неба звезды хватает — было почетным для него.

Приведу один рассказ.

— Был, ребятушки, в нашем селе Филька-сирота… (рассказывались такие вещи обычно за ужином). Умнее в округе парня не было. Грамотник. Говору и смекалости всякой из него сыпалось, как из мешка зерен. И по обличию хоть куда: девки за ним. как тучи за солнышком, ходили — таяли… И хороший совет дать, и повеселиться, и на работе — везде за первую руку Филька идет. — Рассказчик останавливался и прибавлял вразумительно: — На такие дела вот с каких спрос берется.

Когда слушатели отмечали согласием это вразумление, рассказывавший продолжал:

— И вот, что бы случилось, отчего бы, но заблажил, переменился парень. Нелюдимость приобрел, неулыбчатый стал. Потемнение пошло по лицу… Стал он куда-то из деревни отлучаться, а коли дома сидит — ставни на запор. Мужики не перечат, только говор пошел, что поступил-де Филька в ученье к колдуну, мельнику. А надо вам сказать, ребятушки, колдун этот большой силы был. Над всеми колдунами старшой. Во всю животную тварь обращение умел делать и хошь по-злому колдовал, но и для человечьей пользы старался…

И вот покуда в нем сила молодая была, так он и бесу самому супротив шел, за людей заступаючись; ну, а как старость пришла, тут они на него и насели: поедом жрать колдуна стали, в корчах мучили… Вишь, проведали они, что колдун знает такое потаенное, которое и от беса скрыто, — и захотели они от него допытаться через муки телесные. Чует колдун — смерть приходит, и заспешил, и заметался, кому бы власть свою передать, — да и напал он на нашего Фильку…

Принял на себя Филька силу колдовскую полностью. А когда дошло время до последнего уговора с дьяволом, Филька не будь

плох да и заартачься: на кой ляд, говорит, вы мне сдались, — я и без вашей помощи обойдусь, а коли приставать будете, так я Христовым крестным знаменем облачусь, плевать-де мне на вас, черных, и только. Так и обрезал.

С этих-то вот пор Филька и занялся спущением звезд на землю. Ночью, бывало, вон куда обходили колдовскую избу: треск, вспых такой из нее шел, что упаси Господи…

После этаких дел народ волноваться начал противу Фильки; выселение ему стали требовать: иначе спалит, мол, он кас делали бесовскими. Да и какой, мол, колдун он есть, если прямого излечения людям не производит… И к попу обращались, чтоб осадил он сколь можно Фильку аль вразумление ему сделал церковное… Поп возьмет с собой в бутылку воды крещенской и кропилу, да только до избы Филькиной дойдет, чтоб окропить ее, — глянь, а в бутылке и сказать нельзя что находится. Нет силы моей, — говорит поп, — через воду, надо бы, говорит, с крестом да Евангелием на него пойти, да страх берет, не осквернить бы знаки божеские…

Не знаю, как бы дальше дело кончилось, да пришел Фильке евонный конец: осияло однажды все село наше как молыньей… Спалил кто, аль звезда какая с огнем угодила, только от избы Филькиной один прах остался, а в золе самой трубки какие-то ребятишки выгребли… В трубках этих вроде как стекла заделаны… Мужики порешили их в омут речной бросить. А что Фильки касается, так он, почитай, скрозь дотла сгорел, и только пуговки да крест медный промежду угольев человечьих спознались.

Вот, ребятушки, дела есть какие. Человек может и беса перемудрить, ежели противу всего станет, — закончил рассказчик.

Меня такие рассказы пугали участью их героев, но и сильно радовали смелостью и напряженностью человеческих исканий. На Ерошку они произвели особенное впечатление.

Однажды вечером после полива в саду, когда мыли мы у бадьи ноги, под страшной тайной, после моей клятвы: «лопни глаза», он мне сказал, что он, Ерошка, ищет колдуна, чтоб поступить к нему в ученье.

Этим заявлением Ерошка сделался для меня временным героем.

Несколько позже я расскажу о Ерошке и его дальнейшей судьбе.

Что интерес к небесным и вообще космическим событиям был у нас всегда наготове, свидетельствует хотя бы следующая шутка, одна из многих.

Приходит Васильич к ужику и, снимая полушубок, сообщает особенным тоном:

— Эх, мужики, на дворе столбов сколько!

В кухне все: — Ну?? — Некоторые еще сдерживают себя, только с мест приподымутся, а Иван, Ерошка и я вперегонки бросаемся БО двор к зимнему небу, сверкающему звездами.

Мне начинают казаться спускающиеся лучами к земле полосы, а Иван с сожалением замечает:

— Наврал, плешивый черт…

Нас, возвращающихся в кухню, спрашивают о том, что мы видели. Мы молчим…

— Аль не видали? — удивляется изобретатель столбов.

— Только тебе брехать… — в сердцах отвечает Иван.

— Ну и ротозеи! — не унимался Васильич.

— Да-к что? — огрызнется Иван.

— Да как что? А под сараями не видали? Общий смех покрывает шутку.

Атмосферические свечения вокруг луны, в особенности же редкие, сияющие крути, огибающие солнце, не проходили мимо наших оценок и наблюдений.

Особенно мне врезались в память два небесных явления, отметивших мои космические представления. Первое случилось в один из периодов моей жизни на Малафеевке.

За несколько дней до этого события в народе прошел слух о предстоящем затмении солнца. Слух волнующий, потому что сектантская нервная чувствительность тесно связывала небесные явления с социальным порядком жизни.

К тому же расклеенные городской управой объяснительные рукописные афишки, проповеди в церквах — эти меры вместо внесения успокоения достигли обратного: тревожности и напряженности ожидания как будто нарочно кем-то подготовляемого затмения.

Старухи повынимали саваны, заготовляемые ими обычно заранее и хранимые на дне погребцов на случай смерти. Раскольничьи молельни весь канун перед затмением были открыты для всенощного покаянного бдения. От кабака у Красотихи неслись крики, очевидно, самых отчаянных пьяниц. Их несвязные песни еще жутче делали наступающую канунную ночь: казалось, что пьяные воют от страха.

Я сидел на обрыве над Волгой.

В природе не было никаких изменений. Догоравшая заря зеркалила тихую воду с силуэтами островов. Дневная жара сменилась прохладой. Со дворов слышалось мирное мычание коров, вернувшихся из стада.

На улице было безлюдно.

Сквозь некоторую жуть настроения во мне бушевало радостное нетерпение к необычному, которое наступит завтра. Я пошел домой.

Проходя избушку Кондратыча, я увидел выглядывавшее из окошка лицо Тани, приемыша Андрея Кондратыча. По случаю ожидаемых событий она с бабушкой Анной пришли ночевать к дедушке, что, впрочем, и без этой оказии случалось нередко.

Я и Таня были друзьями с пеленок, но теперь мы вступили в полосу уже некоторой застенчивой дружбы.

— Ты очень боишься затмения? — спросила девочка.

— Мне очень хочется, чтоб оно скорее случилось, — ответил я, задерживаясь у подоконника.

— А я боюсь, — сказала Таня, съеживая плечи. Она снизила голос и наклонилась ко мне. — Я боюсь, как бы не осталась ночь на всю жизнь.

Я почувствовал, что эта же самая мысль была и у меня, и она меня также пугала… За головой Тани появилась Анна Кондратьевна и погнала меня спать.

Я хотел бодрствовать всю ночь и потому устроился на крыльце, на котором когда-то отец ждал моего рождения. Темнота ночи и тишина, придавившие Малафеевку, усыпили меня непробудным до рассвета сном.

Проснулся я вдруг, словно меня кто подтолкнул, и бросился на обрыв.

Светало. На востоке за Волгой сгрудились облачка… Мне не верилось, что день наступал обычным.

Облачка напрягались светом, и брызнули через них и сквозь них лучи солнца и залили Волгу.

Пейзаж стал светел и прост. Наступало бодрое летнее утро. Зачирикали воробьи, заклохтали куры, и казалось, кончились все ожидания необычного… Так, вероятно, казалось всем, потому что к жизни приступили как всегда: подоили коров, выгнали их на Московскую, где был сбор стада… Мужики повели на водопой лошадей. Закурились трубы разжигаемыми печами… Кое-где по углам стали подсмеиваться над предсказанным. Да и неудивительно, когда само солнце не проявляло никакого желания подчиниться предсказанию, подымаясь все выше и выше над горизонтом…

Затмение подкралось незаметно. На солнце из-за его блеска все еще нельзя было смотреть простым глазом, но освещение пейзажа стало меняться, становясь все более и более закатным, как будто происходило не поднятие солнца, а его опускание к горизонту, и опускание быстрое, заметное, по угасанию света, на

глаз.

Зажелтели, заоранжевели, потом подернулись красным освещенные домики. У горизонта показалась вечерняя синева…

Люди покинули свои жилища. На улицах толпы и группы людей с обращенными к потухающему светилу лицами. Сдавленный говор. Вздохи.

Все напряженнее становится состояние людей и животных. Недоуменно запели петухи.

Внимание народа переносится на бегущих с поля коров, они жалко ревут и болтают пустыми вымями…

Напряжение в толпе разряжается воплем:

— Владычица, спаси нас…

Подул сумеречный ветерок; зашелестели листьями ветлы, рябью покрылась Волга, и на зените неба весело заблестела серебряным светом звезда…

Солнцу приходил конец. Вместо необъятного костра света — серо-багровое пятно, окруженное красноватым колечком. В толпе больше нет удержу: вопли растут, ближние и дальние сливаются в один гул, раздирающий сердце, Я застыл о г надвинувшегося на меня страха вечной необычной ночи, от отчаяния окружающих. В это время чья-то рука нелепо трогает мою руку. Это была Таня. У нее был беззащитный, растерянный вид. Она взяла меня за руку и оставалась возле — казалось, девочка искала моей защиты. Этот простой, естественный жест, поя впечатлением особенности момента, среди дня, ставшего ночью, среди вопля народного, наполнил меня новыми, неизвестными мне дотоле ощущениями: земля и небо и люди стали иными.

Это не хлыновцы — это рыскающее дикой, неубранной посевами землей стадо… Как во сне докочевали мы к берегу неведомой реки и здесь потеряли размеры дня и ночи и потеряли размеры опасности… И сами стали космичны…

На мне родовая, вечная ответственность за судьбу слабейшей, дрожащую руку которой я сдавливаю в моей ладони…

— О-э-о… — поет внутри меня боевой клич моего племени, роднящий меня с каждым из его членов…

— О-э-о… — это обрядовая песнь, это вопль-ритм, организующий нас, затерянных в пространстве. Ритм, дающий верные направления нашему стаду. О-э-о… Пусть солнце исчезает навсегда — мы сритмуемся с новыми условиями… Бесполезными померкнут глаза наши, но мы повернем обратно потоки наших артерий и заставим концы наших пальцев быть зрячими…

Было ли это мое состояние молитвой или заклинанием стихий, или это был волевой экстаз, зарождающий племенные инстинкты вождя, но я знаю верно, что это была, может быть, моя

первая настройка собственного организма для его встречи с планетным событием, чтобы суметь действие на меня классического ужаса сделать творческим…

В это время к нам подошел Андрей Кондратыч. Показывая к солнцу, он сказал:

— Смотрите, детушки, солнце возвращается.

Кондратыч был простой, всегдашний, и голос его, говоривший о столь волновавшем всех, был такой же, всегдашний, как если бы он говорил о ежедневном восходе или закате солнца. Но, сказав все это очень просто, Андрей Кондратыч залоснился, засиял своей лысиной и серебром волос, и торчком вздыбилась его козлиная бородка. Он не отрывался от солнца, и его маленькие мудрые глаза, казалось, хотели просверлить темный диск, нехотя застрявший на солнце и приоткрывающий его. Потом улыбка заиграла морщинами на лице старика, и он воскликнул:

— Ах, ты, в рот-те ситного пирога с горохом, — да ведь это месяцем солнце затемнило Смотрите, кругляш темный на солнышке — это же самый месяц и есть. Да и путь его верно идет… — И Андрей Кондратыч широким жестом, как бы повелевающим самой планете, повел рукой по небу:

— Вот где месяц ныне ночью будет…

В толпе пронесся не то удивляющийся, не то радующийся общий вздох.

Солнце высветлилось скоро — кругляш сполз с него и исчез.

Второе из такого рода событий, связанное с пролетом остатков кометы Биелы, произошло у Махаловых.

Кто-то из дворни, возвратившись с базара, сообщил за чаем о предстоящем хождении звезд.

— Будто дождик такой, огненный, будет… И что уже в бумагах об этом прописано, как есть…

— Когда? — спросили за столом.

— А вот-де на этих днях…

За обедом этот слух окончательно подтвердился, и уже называли день. За столом сейчас же приступили к обсуждению. Один находил, что ничего особенного в этом случае нет, потому что звезды падают часто: каждую ночь нет-нет да и скатится с неба.

— Так-то так, — сказал другой, — но если они все, сразу посыпятся, так тогда, пожалуй, и землю спалить могут, если, к примеру, которая на соломенную крышу угодит.

— Да, — безбрежно задумался следующий. — И что бы это такое значило?

По Феклиному выходило — либо к мору, либо к войне, но

задумавшийся не слышит реплик Феклы, и о другом его недоумение:

— Какая это непонятнейшая агромадность — кумпол земной.

— Прочитай Библию — в ней все сказано.

— А ты читал? — подхватывает кто-то на слове сказавшего.

— Не читал, а так сказывают те, кто читали…

— Насчет Библии не говори, — наставительно замечает Стифей, — ее никто насквозь не дочитывал: не дано это уму человеческому Так, что ль. Иван Пактелеевич?

Дядя Ваня слыл за начетчика — он читал и Библию и хранил к ней болезненную неприязнь.

— Прочесть можно, — говорит он, — да уразуметь трудно. В Библии одно ниспровергает другое, и не за что ухватиться.

— Да, да, — сунулся в разговор Ерошка. — Как ее дочтут, так и с ума долой.

Старшие на него покосились, и Ерошка смутился, но чтоб не потерять смелости и не ударить лицом в грязь, продолжал:

— Вчера насчет этих звезд у амбаров говорили, что, дескать, подстроено это все.

— Ну?…

Ерошка просиял от этого «ну?».

— Будто народ подушные стал плохо платить, — так вот…

— Не бреши зря, парень! — обрезал Ерошку садовник многозначительно.

С утра этой замечательной ночи Андромедид дворня была настроена чинно. Сомнений в том, что звезды полетят, ни у кого не было.

С утра же было отмечено недомогание Васены. Молодая женщина проявляла озабоченность и хмурость. Всегда улыбающаяся, с ямочками на щеках, с сияющим носом пуговкой, на этот раз она была неузнаваема: побледневшая, осунувшаяся, рассеянная, забывавшая подать все нужное к столу. Сосредоточенная к себе, она не отвечала на шутки, обращенные к ней, и даже нужные вопросы часто оставляла без ответа. Когда очень сердобольная ко всем Фекла настойчиво стала выспрашивать о здоровье кухарки, последняя нехотя и с какой-то застенчивостью сказала:

— Ох, Феклынька, сон видала — купалась я, — вот мне и недужится… У меня всегда так бывает… Головушка моя не на месте, и под сердцем сосет… Это болезнь моя лихая…

Отправив обед, обратилась к Фекле:

— Голубушка, бабынька — сил моих не хватает, — лягу я… Помоги мне с чаем и с ужином, Христа ради.

— Как же не помочь, — ответила Фекла.

Дворне было не до Ваеениной болезни. Все мысли наши были захвачены событием предстоящей ночи, у всех по этому поводу было приподнятое настроение.

Обыденные дела клеились плохо.

Стифей, сколько ни возился возле Матки, не мог по-всегдашнему отполировать широкую спину своей любимицы, и лошадь не блестела подобно крылу ворона.

Васильич с утра сумел уже где-то выпить, и его, вечная зимой и летом, шапка еле держалась на затылке, оголяя бронзовую лысину. Несмотря на веселое, добродушное настроение, Васильич нет-нет да и вскидывал здоровым глазом на хитро спокойную синеву неба.

Иван, вычищая конюшни, раздраженно доказывал лошадям возможность мировой катастрофы и что все пойдет в тартарары… А у него, у Ивана, и жены даже не имеется… Ерошка то и дело бегал на вершину садового грота для обозрения неба, чтоб не прозевать, если на нем что-нибудь начнется…

От нетерпения мне стало тесно во дворе и в саду. Я побежал на базар понаблюдать центр города.

С близлежащих от нас мясных рядов начало постигать меня разочарование — так обыденщина не связывалась с величиной предстоящего события.

Мясники развлекались привязыванием к хвосту забежавшей собаки бычачьего пузыря, после чего обезумевшее от хлопавшего по бокам сфероида бедное животное неслось улицами Хлыновска, сопровождаемое улюлюканьем и камнями мальчишек. Мясники от удовольствия ржали, как лошади.

В красном ряду хозяева и приказчики с потными лицами, цвета их медных чайников, пили чай.

Опершись о грузные зады, переругивались обжорщицы.

У мостков тротуара, ведущих в трактир, мирно спал Семка-пьяница на своих перегоревших изрыганиях, а домовитая свинья базарника с розовым детищем заботливо очищала Семку, хрюкая наставления своему еще неопытному зверенышу.

На каланче кружил пожарный, изредка перекликаясь приветствиями с проходящими знакомыми. И только один из этих прохожих, задрав кверху к пожарному голову, полюбопытствовал;

— Ну что, Гаврюша, не видно ли чего у тебя сверху?

Пожарный зевнул и отрицательно покачал головой.

Как только наступила ночь, спокойного, с застывшими на местах светлячками купола не было и следа. Небо резалось, пересекалось струйками звезд. Они катились, падали к горизонту.

Небо двигалось, оно казалось катящейся полусферой, способной вот-вот раздавить город, а струйки огня зажгут и

испепелят землю.

Когда, утомленный до головокружения, перевел я глаза на строения, деревья и фигуры людей, я испытал поразившую меня вещь: строения и люди вращались вместе с почвой, уплывающей из-под моих ног… Мир катился, бежал из-под купола неба… Неуютно и страшновато моему телу, а имеете с тем бурная радость от окружающей мировой оживленности охватывает меня…

Звезды сыпались без конца. Как ударами огненных кнутов, секлось небо, оставляя на себе следы круговых отрезков, вспыхивающих и потухающих.

Движение имело какую-то систему, как будто гигантская спираль штопором в определенном направлении винтила и небо, и землю.

По мере наблюдения в меня входила какая-то согласованность с окружающим, я, подобно матросу в бурю, начинал учитывать каждым мускулом качку этого мирового корабля, и бившаяся где-то в грудной ямке кровь казалась пульсирующей по-иному, перестроившись в новую ритмику самозащиты…

У меня начала кружиться голова. Двор был пуст. Я побежал в кухню. Дворня была в сборе. Люди сгрудились возле дяди Вани, склонившегося над книгой под лампой. Тени разбросились стенами и потолком. Лица были сосредоточены. В тесном кругу путались бороды и жилистые руки, подпиравшие головы. Дядя Ваня читал:

— И после скорби дней тех — солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются… Тогда явится знамение Сына Человеческого…

Среди застывших в тишине слушателей и негромкого чтения дяди слышны были стонущие вздохи Васены. Дядя Ваня читал:

— …И соберут избранных Его от четырех ветров, от края неба и до края их…

На этом месте чтения Васена взметнулась на кровати, облокотилась в подушку и отрывисто, с визгом залаяла в сторону стола.

Слушатели шарахнулись со своих мест по направлению к выходу, давя один другого.

Дядя Ваня, бледный, стараясь пересилить собачий лай исступленной женщины, кричал:

— Это кликуша. С ней припадок…

Васильич, единственный, кажется, из всех, сохранивший наружное спокойствие, не потерявший улыбки на бронзовом лице, наполнил водой кружку и подошел к Васене. Следом за ним

покралась Фекла.

— А ты, Васена, полно, испей водицы, — трогая за руку больную, заговорил Васильич.

Васена уже тише, изнутри как-то, из живота, но все еще продолжала подвывать и всхлипывать. Воды она выпила и легла на постель. Фекла присела на скамью рядом и гладила ее голову с разметавшимися по подушке волосами.

Мужики отодвинулись от двери и столпились полукругом возле стола, уставившись на подергивавшуюся судорогами Васену.

На дворе падающие звезды, здесь беснующаяся женщина: ни возле человека и ни возле природы не было спокойствия, не было надлежащего уюта, чтоб сохранить простое, жизненное равновесие, дворня казалась ошарашенной, загнанной в тупик.

Снова хотели было ухватиться за многозначащие слова евангелиста, но едва началось чтение, как с Васеной начался новый припадок, — она стала дразнить читающего набором звуков и ругательствами. Пена выступила у ее рта, а глаза с безумием ненависти лезли из орбит.

— Да воскреснет Бог! — истерически раздалось в толпе.

Васена вскочила с постели, вцепилась руками в свои волосы и с визгом грохнулась на пол, конвульсивно дрожа и корчась.

Васильич, по-прежнему улыбаясь, ззял ситцевое одеяло с постели Васены и накрыл им больную женщину. Наконец, стоны и судороги прекратились, и Васена уснула крепким беспросыпным сном.

Кликушечий припадок миновал, как миновало и хождение звезд, но совпавшие в одновременье. они тем резче подчеркнулись в памяти, оттеняя одно другим.

Глава пятнадцатая
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Мне кажется, что в первое время по возвращении из Петербурга я позабыл мою грамоту. Причиной, вероятно, было то, что моя мать, вечно занятая хозяевами, не имела, как прежде, достаточно времени, чтоб наталкивать меня и помогать мне в этом направлении. Новый интерес к грамотности возник во мне неожиданно и опять-таки благодаря матери, с одной стороны, и через письма к отцу, с другой.

Матушка моя любила читать, в особенности «о человеке что-нибудь», о страданиях его и редком маленьком счастье, выпадающем на долю человека; недаром одна из любимых ее песен была «Под вечер осени ненастной».

Среди всяких «Страданий Елеоноры», «Прекрасной магометанки, умирающей на гробе своего мужа», «Тайн Турецкого двора» и прочего хлама, заменявшего в то время теперешний кинематограф, судьба посылала в руки матушки и вещи другого порядка, как «Дубровский», над судьбой которого она плакала, читая оригинал, а я плакал, слушая ее пересказ[1].

Между прочим, книжки в то время нашими кругами читались по-иному: до износа книги, — и этот запой на книгу не мешал получать от каждого прочтения ее новый и новый интерес; так по данной романтической схеме ткали мы свою романтику. Я помню, например, рассказ Толстого о Жилине и Костылине я прочел дворне почти в одном и том же составе слушателей около двадцати раз, и в каждое новое чтение они отмечали репликами, но по-новому, особо захватывающие места.

Вообще интерес и почтение к печатному слову были сильны, — народ наивно верил, что пустым и ненужным бумагу портить не будут, а редкость явления в быту умеющего читать делала грамотея особенно ценным и эксплуатируемым вовсю.

Вернусь к матушке, которая, несмотря на всю занятость по дому, урывала кусочки отдыха на чтение.

Помню, и для меня праздничные, эти моменты, когда нет хозяев или когда работа до завтра закончена: мать сядет у раскрытого на террасу окна и уйдет в книгу.

Я убегу играть, наиграюсь, вернусь, а мама сидит как была, лицо ее вне данного момента и пространства, то весело внутренней радостью, то грустно печалью за страдающего героя.

От нее унаследовал я запойное чтение моего детства и юности.

Этими возбуждениями интереса к книге, а отсюда и к грамоте, я объясняю то, что при поступлении в школу я уже оказался довольно начитанным, — это с одной стороны; вторым импульсом к учению была разлука с отцом и желание поделиться хотя бы на бумаге письма моей любовью к нему.

Одно из таких моих посланий к отцу гласило:

Милый папа мой,
Приезжай домой,
Сыночек тебя ждет,
К себе зовет…
Здесь хорошее житье. —
Привези, папа, ружье.

Письмо это я запомнил в главных строках, потому что оно было оглашено и имело успех: некоторые из дворовых знали его наизусть.

Огласка письма была мне неприятна, — как будто подслушали мое интимное, относившееся только к моему отцу.

Как бы то ни было, но думаю, — этот случай подзадорил меня к ученью и к дальнейшим упражнениям рифмою, а немного позже и к прозаическим выдумкам. Тем и другим я начал заниматься раньше рисования.

Помню возвращение отца.

Стою я на кровати, обнимаю шею отца, приехавшего со службы. Сквозь отчужденность полузабытого образа, вместе с запахами солдата и колючестью бороды, всплывает ко мне в представлении мой отец.

В самой отчужденности есть что-то мешающее интимности первых минут встречи, и эта обоюдная застенчивость и делает столь нежной после долгой разлуки встречу с близкими.

Опять слышу «сыночек», только им со свойственной интонацией произносимое. Опять чувствую мою руку греющейся в жесткой, мозолистой ладони отца.

Своим приездом он разбудил во мне видение большого города с Пустой улицей Охты, где на чердаке домика стучит машина, а на полу распластал ноги рыжий Петруха и окает склады моей грамоты.

И я видел мысленно и верил, что образы, всплываемые во мне, — они и сейчас существуют такими же: мать и сейчас там, согнувшаяся над бегающими челноками, и Петруха, да и отец там же… Да. А сюда приехал здешний, теперешний… Это было зачаточным пониманием текучести жизненных явлений и неповторяемости моментов…

В школу меня отдал отец.

Приходское училище находилось на базаре и помещалось во дворе городской управы, и покоем обрамляло оно этот двор классами, квартирами учителей и сторожкой.

После переговора с учителем, человеком с белой льняной головой и с лицом, опушенным такого же цвета бородкой, с хорошими, добрыми и веселыми глазами, и после зачисления меня ввиду малых моих лет в младший класс, сторож направил нас в большое, мрачное помещение со скамьями посредине и с черной доской у стены.

Ребятишки нас обступили, показали свободное место на скамье в задних рядах, и тогда отец погладил меня по голове и ушел.

Ребята стали знакомиться с новичком.

Более тяжелых минут заброшенности среди маленьких хищников до той поры я не испытывал. Они дергали меня за волосы сзади и награждали щелчками по голове А один из мальчиков с перекошенной шеей, вихрастый, с маленькими бегающими вразброд зрачками, закрыл мои глаза пальцами и закричал:

— Кому по волоску?

И остальные мальчики дергали меня за волосы. Порция этих издевательств была слишком большой для нового пришельца в этот притон, чтоб ее смаковать, — и я даже плакать перестал и понял две истины для самозащиты от прихотей толпы: во-первых, чтоб легче переносить такую травлю, надо постараться не плакать, ибо слезы жертвы доставляют большое удовольствие палачам, а во-вторых, чтоб обезопасить голову, не нужно на ней иметь ничего лишнего, за что можно было бы ухватиться…

Начавшиеся занятия помогли мне немного развлечься, тем более что система названия букв и их склады были совсем иные, чем те, по которым я когда-то учился, а так как в это время я уже свободно читал, то постижение этой премудрости я миновал, перескочив через нее.

Отсюда начинаются мои школьные годы в Хлыновске, годы запоминаний имен предметов и прилагательных к ним качеств. О школе мне придется много упоминать в дальнейших главах, что же касается первых лет приходской школы, здесь ученье, в сущности, не играло большой роли, ибо, пожалуй, только арифметика еще была для меня новой и доставляла мне интерес. Мне нравились неизбежные выводы ее действий: бабы с яблоками, текущие краны воды, поезда, прибывающие в неизвестные часы и минуты, которые надо определить, — трудность этих выкладок меня увлекала. Конечно, это увлечение

ничуть не говорило о моей склонности к математике — с математикой в дальнейшем у меня будут большие заскоки.

Не говоря уже о самой системе наших школ, тренирующей впустую ученика «на память», а не на четкость органических восприятий, самый состав учащихся не располагал принять всерьез предлагаемую науку. Из бывших со мной в классе в первые два года никто из мальчиков не пошел дальше.

Учиться хорошо среди нас считалось стыдным, так же как и говорить об уроках, о заданном. Провести, высмеять учителя считалось доблестью. Ухитриться во время стояния наказанным в углу за печкой незаметно освободить желудок от содержимого было высшим спортом.

Классом руководили сорванцы, главным образом беспризорные по тем или иным домашним условиям. В свободное от занятий время многих из них я встречал ходящими с сумою по городу, а были и такие, которые промышляли воровством на базаре.

С одним из таких товарищей по классу, по прозвищу Кривошей, у меня была знаменательная встреча. Он был одним из руководителей на дурные предприятия. В первом классе он пребывал уже третий год, и этим классом, насколько помнится, и закончилось его образование. Злой, мстительный, со сломанным и остро отточенным перочинным ножом в кармане, Кривошей был страхом для мальчиков, и если бы не было ему в противовес великовозрастного доброго парня — Васина, который за кусок хлеба мог в любое время поколотить Кривошея, последний был бы совершенно невыносимым для нас, малышей, и его вымогательства были бы безграничны.

Однажды на базаре остановился я у лотка для какой-то покупки. Покупателей, обступивших лоток, было много. В это время из-за меня к прилавку протянулась чья-то рука и быстро и ловко выхватила лежавшие на прилавке деньги. Я обернулся назад и увидел Кривошея. Мальчуган злобно сверкнул на меня глазами и скрылся в толпе.

Воровство осталось незамеченным, но теперь в школе Кривошей со своей злобностью стал придираться ко мне, словно он мстил мне за нечаянно подсмотренный мною его поступок. Сидя на скамейке сзади меня, мальчуган причинял мне самые разнообразные неприятности, но вскоре дело дошло и до бандитского поступка.

В один из последующих дней, отвечая урок с места, я вскрикнул от неожиданной резкой боли в спине. На вопрос учителя, кто мне причинил боль, я молчал. Слезы от обиды и боли застилали мне глаза. Я чувствовал мокрую струйку на спине

под рубашкой. Я видел валяющийся под скамейкой ножик Кривошея, но назвать его не мог: в этом была какая-то интуитивная этика школьника, которую каждый поступивший воспринимал и которой придерживался. Во всяком случае, мое молчание не было боязнью мести со стороны маленького бандита, так как я был настолько переполнен гадливостью к моему палачу, что это чувство делало в моих глазах дрянными и маленькими все его гадости, к тому же во мне подымалось желание мести, желание уничтожить этого бессмысленно-жестокого человека.

О ранении учитель не узнал.

В перемену Васин качал наседать на Кривошея.

— Ты что, дерьмо, разбойничать здесь начал? Салазок захотел?

Кривошей встал спиной к стене и принял позу к защите.

— Васин, — кричали мальчики, — у него ножик. Видишь, ощерился как, — смотри, не пхнул бы.

— Не подходи, зарежу, — злобно сказал Кривошей, показывая в правой руке огрызок своего ножа.

Васин остановился в раздумье. Потом плюнул сквозь стиснутые зубы в лицо противника.

— Ладно, — сказал он, — салазки все равно сделаю, вошь поганая…

На этот раз этим дело и кончилось.

На следующий день, сняв пальто, перешагивал я, ничего не подозревая, через порог класса, как в этот момент сбоку от стены чей-то кулак со всей силы ударил меня по лицу. Удар отшатнул меня назад, но не свалил. Мысль о мести собрала мою волю. Положив книжки на парту, не обращая внимания на льющуюся из носа кровь, я стал разыскивать нанесшего мне удар. Горячая потребность расправиться с врагом даже самую боль делала для меня приятной и возбуждающей.

Кривошей стоял, как ни в чем не бывало, у печки, грея зад и руки о горячую жесть. Очевидно, вид у меня был настолько решительный, что даже такой сорванец, уверенный в своей силе, как Кривошей, никак не ожидающий от меня смелости нападения, проговорил, отстраняясь от печи и освобождая на всякий случай руки:

— Ну, ну, эй, ты…

Ударил я Кривошея ие помня сам себя. Когда тот растерялся и отступил в угол, я вцепился в него левой рукой, нанося удары правой. Треск расползавшейся рубахи доставлял мне особенное удовольствие. Этот же треск и хруст моих ударов, не дававших возможности опомниться противнику, казалось, веселил и пьянил обступивших место побоища школьников. Симпатии были на

моей стороне, я это слышал по возгласам окружающих.

Наконец, противник подо мной, но его зубы вцепились в мою руку. Я делаю последний удар по его скулам, освобождаю руку и за волосы держу его прижатым к полу.

— Пусти. Ладно… — заговорил подо мной мальчуган.

— Злой ты, вот тебе за все.

Бросаю его и иду к кадушке, где ребята уже ждут меня с кружкой воды, чтоб отмыть лицо от размазанной и застывшей крови и прокус на руке. Я чувствовал восхищение мною, как победителем, но главное, что было во мне, это ощущение перелома моего состояния: я превозмог инстинкт боязни, моя смелость победила другую; впервые я привел в действие и проверил мои мускулы на борьбе с себе подобным существом. Во мне установился новый вид самозащиты перед внешним миром.

Это была моя первая драка.

После такой встречи совершенно неожиданно у меня с Кривошеем установились хорошие отношения: последний стал проявлять дружбу и доверие, посвящая меня в свои подозрительные приключения.

Кривошей недолго пробыл в школе. Из нее он исчез неожиданно, но его еще встречали в городе, большею частью пьяным, несмотря на его двенадцать, думаю не больше, лет. Потом я о нем забыл до тех пор, когда несколько лет спустя я его увидел в острожной церкви, в числе других арестантов на хорах за решеткой. Мой школьный товарищ меня узнал — улыбнулся и сделал жест рукой. У меня было искреннее сожаление за его судьбу, и, чтоб как-нибудь это проявить, послал я ему передачу — семь копеек и пакетик махорки из пятиалтынного, скопленного мной на покупку книжек. Еще позднее о Кривошее стали поговаривать всерьез — он достиг разбойничьей популярности, самые удалые преступления и смелые побеги из тюрем стали приписывать ему. Хлыновцы гордились своим героем, тем более что другого сорта герои перевелись к тому времени в Хлынсвске. Наконец, знаменитое балаковское дело, где из-за пустяшного грабежа вырезана была целая семья, всплеснуло уже на самый верх кровавое имя Кривошея. Под этим нашим прозвищем он и был известен, оно и схоронило настоящее имя, отчество и фамилию Кривошея. Да и его самого после балаковекого преступления схоронила каторга на долгие годы.

Прошло много лет.

Бродил я Хлыновским уездом по этюдам. Собственно говоря, этюды были предлогом, а меня увлекал самый процесс наблюдения. Этюдник наполнялся случайными записями случайных мест, и обычно эти наброски мало пригождались мне

для дальнейших работ, но зато во время разрешения какой-нибудь картины вдруг в голове вспыхнет образ детальнейшего куска пейзажа, где лист дерева, зацепившийся за камень на черной земле, дает мне полный материал для завершения не хватающего в картине плана. И оказывается, что эта деталь мною наблюдалась несколько лет тому назад в одну из таких прогулок, и при этом всплывают такие точности обстановки, что мне припоминается все мое органическое состояние под впечатлением температуры воздуха, запахов растений, моей усталости и целого ряда мыслей, работавших во мне в момент наблюдения.

Итак, бродил я таким манером, вооруженный ящиком через плечо, уездом Хлыновска. Мое желание добраться на ночлег в село Брыковку не сбылось. Я решил миновать лес и уснуть на его опушке перед спуском в долину.

Ночь была темная, августовская. Деревья, еще полные кроны, закрывали небо. Дорога, с утопавшей колеей в песке и прослоенная песчаником, подымалась в гору, извиваясь просекою. То и дело срываясь в колею, я шел тихо, почти на ощупь.

В это время впереди меня у дороги блеснул огонек, очевидно от курения, и погас. Ночью, в безлюдном, казалось, месте, этот огонек заставил меня вздрогнуть. В такие моменты боязливей неловкости в голову сейчас же приходят услужливые воспоминания: я вспомнил сейчас же городские разговоры о беглом каторжнике, появившемся будто бы в наших местах. И версию, что бродяга из хлыновских и прибежал сюда не то жену повидать, не то детей… О каторжниках слухи у нас распускались довольно часто: уродятся хорошо яблоки или арбузы, так вот. чтоб не повадно было парням воровать их, — садоводы Хлыновска и пустят слух о бродягах, рыскающих вокруг города.

Как бы то ни было, но мысль о каторжнике мелькнула во мне одновременно со вспыхнувшим огоньком впереди меня — страх не имеет логики.

Я замедлил и без того тихий шаг.

Мысли приходили быстро и разно: вернуться назад, допустив возможность, что владелец огня меня еще не заметил; выстрелить в воздух, чтоб запугать бродягу — буде это он — и обратить его в бегство, а третья мысль, которая и пересилила остальные, была о том, чтобы идти вперед тем же шагом, наблюдая вокруг себя, и суметь предупредить встречу, если бы она оказалась опасной.

По мере того как я подымался, нервы мои напрягались сильнее из опасения неожиданного нападения. Внешне я старался шагать шумно и даже начал насвистывать песенку к размаху шага, и только моя левая рука, впившаяся в револьвер-бульдог,

говорила о моем истинном состоянии духа. При дальнейшем приближении к месту, где, по запомнившемуся огоньку, по моему расчету должен был находиться человек, — оттуда снова заблестела красная точка. На сей раз совершенно отчетливо видно было, что там кто-то курил. Высота папиросы над почвой говорила о сидячем положении курящего. Вызывающие операции с огоньком показывали, что мы друг друга заметили.

Надо было войти в сношение с ночным человеком. Для людей, много бродивших землею, известно, что для таких сношений есть какие-то моменты расстояния и такта, и я уже собрался заговорить о чем-то вроде прикура, как одновременно от папироски раздался голос:

— Куда живого тащит? — голос сипловатый, но ничего трагического собою не представлял.

— А ты кто, неприкаянный? — отвечаю и я вопросом.

— Не мужик, видать, — насмешливо отозвался голос, и незнакомец быстро и ловко зажег спичку, скрывая ладонью себя в тени (типичный воровской прием даже у парижских апашей), и осветил меня.

У него была ловкость вора, а у меня сноровка живописца, привыкшего быстро схватывать отдельные части формы и сейчас же в мозговой коробке создавать по ним цельный образ. Когда я закрыл глаза от вспыхнувшей спички, — образ бродяги для меня был готов: реденькая бородка на худом лице со впадинами на щеках, неправильность шеи, дающая неверную посадку головы, и незабываемые, маленькие, бросающиеся с белков зрачки… Он был чуть выше меня ростом. Закуривая об его окурок мою папироску, я хранил экспрессию этих глаз в памяти, припоминая, откуда я знаю эти бросающиеся точки… Откатилось много лет, и предо мной встала мрачная картина комнаты с ушатом воды…

— Ты хлыновский? — спросил я.

— Был хлыновский — да сплыл… А что?

— Не Кривошей ли по прозвищу?

— Ты тутошный? — резко и подозрительно воскликнул бродяга. — Откуда знаешь?

Я засмеялся.

— Был тутошный, когда Кривошея поколотил…

— Не дури. Говори толком… Ты, может… — и, отскочив от меня, каторжник неистово свистнул.

— Брось, дружище, — спокойно сказал я Кривошею, — вспомни лучше училище на базаре.

— Нешто ты Водкин? — закричал он. — Эх, так твою пронеси… — заматершинил Кривошей. — Ну, брат, устроил встречу… А ведь я, так и эдак, на тот свет тебя определил. — И,

сунув за пазуху, как мне показалось, нож, он оживленно предался воспоминаниям короткого детства.

Мы шли дорогой рука об руку. Кривошей говорил быстро, отрывисто. Во время рассказа он закашлялся и остановился, сплевывая мокроту.

Что-то, брат, горло першит за последнее время, — сказал он, откашлявшись, — присядем давай.

Мы присели на дорожный срез.

Кривошей за половину этой ночи рассказал мне всю свою несчастную жизнь, из которой два-три года, проведенные в школе, были для него единственной отрадой.

Ни младенчества, ни детства не видел он. В школу его определил полицейский помощник пристава, почему-то принявший участие в ребенке и приведший его в класс прямо с улицы.

Дома пьяница, нищая мать, гнавшая сына на нищенство, чтобы добыть ей денег на водку.

— Мать баба ничего была, только что пьяница… Ее, видишь ли, забрюхатил мной один хахаль, да и концы в воду (в Хлыновске знали историю смерти этого «хахаля»). — Ну, знамо, бабе плохо одной с ребенком, вот она и меня, сказывала, пыталась головой об стену повенчать, да живущей, видно — только шею попортила малость… А потом еще Бога благодарила, что жив остался — это когда водку я добывать начал… У нас весь род от нищих идет — только я Христа ради на дубину променял… Ну, и не раскаиваюсь: куда это веселее и обиды меньше — украсть, чем выпросить… Разбой — это особая статья, а вот воровство, так лучше его и дела на свете нет. Обиды особой никому не причинишь, а сердцу много игры этой чувственной… Да… Кто начал воровать, тот знает, какой это засос всему человеку. Сердце вот как заколотится, когда кражу делаешь, всю неделю потом вспоминаешь щемь эту сердечную.

— А как же ты в разбой пошел? — спрашиваю я Кривошея.

— В разбой с отчаянья пошел. Видишь ли, со мной грех случился: по нечаянности пьяной мамыньку я зашиб и деваться не знал куда, а тут ребята собравшись были заезжие, местов наших не знают… Ну, мы и стакались…

— А теперь зачем сюда явился? — говорю я. Кривошей не сразу ответил.

— Касательно этого и сказать не сумею… Потянуло, брат, больно. Видно, околеть потянуло…

— А если сцапают?

— А растуды их туды… — И каторжник исступленно закашлялся.

Рассвет показал мне во всем несчастье чахлого, изможденного человека, а у его ног, на песке, краснели хлопья накашлянной крови.

Последний раз я увидел Кривошея или, вернее, бывшего Кривошея в мертвецкой земской больницы перед вскрытием.

Облава настигла его в горах, в шалаше, где несчастный укрывался от начавшихся заморозков. Захваченный врасплох, окруженный полицейскими, Кривошей, желая прорвать цепь, с ножом в руке бросился на них и был застрелен…

Второй мальчик в классе, выделявшийся своей великовозрастностью, был Васин. За манеру есть хлеб, высасывая из него все соки, прозвище его было Сосунок. Кроме схожести с Кривошеем в незадачливости постичь науку, Васин был полною его противоположностью во всем остальном.

Рыжий, большого неуклюжего роста, крепыш Васин был добр до степени, до которой не полагается быть школьнику. Жалел он людей, но птиц и животных он жалел особенно, до надрыва над их несчастьями; он мог реветь своим толстым голосом безо всякого стыда перед кем бы то ни было, невзирая на свою великовозрастность. Даже его привычка сосать хлеб возникла на почве кормления птенцов. Часто с Васиным, вообще ведущим себя тихо за уроком, случалось недоразумение: ни с того ни с сего его рубашка то на животе, то на груди начинала топорщиться, отдуваться при неподвижности ее владельца, и только когда раздавался писк или где-нибудь у ворота показывалась желторотая голова галчонка, — общий смех выяснял причину, двигавшую рубашку.

Неудачи Васина в ученье печалили всех нас. Ему подсказывали, писали в его тетрадку слова, которые он запоминал, не умея прочесть. К концу года пребывания со мной в школе этот добродушный юноша умел прочесть только одно слово — «корова». Первый раз, когда каким-то озарением ему удалось прочесть написанное на доске мальчиком это слово, он бурно возрадовался, прыгал по классу, обнимал всех. А мы ликовали за нашего любимца. Васину говорили:

— Теперь тебе, Сосуночек, удержу не будет. Вот увидишь. Прошло твое затмение…

Сейчас же для пробы на доске написали другое слово, но Васин тупо взирал на новое изображение, и видно было, что никакие проблески сознания оно в нем не вызывало.

Но мы были довольны для начала и «коровой», и на уроке, не в силах сдержать про себя радовавшее нас событие, хором, наперерыв сообщили учителю о прочтении Васиным «коровы», и когда столь же удивленный и довольный Андрей Алексеич

написал на доске это слово, Сосунок расплылся лицом, тряхнул рыжей головой и полным голосом гаркнул «корову», и весь класс радостно засмеялся.

Учитель написал другое слово. Васин обвел жалостливым взглядом товарищей, потом уставился на доску. Прижмурил глаза, опять открыл, и видно было, сколько мучения испытывал этот добрый юноша из-за боязни нарушить радостное настроение класса, создавшееся его успехом в чтении, но на доске пред его пытливым взором был непонятный ему узор. И Васин пригнул голову, как бы готовый быком атаковать слово, и крикнул, но уже по слогам: «ко-ро-ва».

Андрей Алексеич улыбнулся и сказал:

— Быть тебе пастухом, Васин.

Предсказание сбылось. Сосунок стал подпаском базарного табуна. Бывало, встретишь его возвращающим стадо в город: рожок через плечо, кнут змеею волочится пылью, вокруг него буренки, пестрявки, пахнущие молоком переполненных вымь; животные понимают каждое слово и любое движение кнута подпаска. Васин сияет в своей сфере. Он долго и любовно трясет и пожимает мою руку, а потом кричит пастуху, чтоб и того порадовать:

— Дружки ведь, — учились вместе…

Глава шестнадцатая
ЕРОШКА

Длинный, сухопарый, словно складной в суставах. Его поджилки всегда готовы к кувырку колесом, к обезьяньему прыжку с дерева на дерево. Смешлив он, и, когда смеется, его удлиненное лицо из серьезного делается неузнаваемым. Голос Ерошки грудной, теноровый, немного напыщенный, с пафосом. Пафос возникал из любых причин социального или личного порядка, затронувших его владельца, но основной стержень пафоса — это свершение огромных дел, которым Ерошка посвятит свою жизнь. Этот пафос бурлил в нем без остановки, делая юношу парящим над мелочами, обидами и неудачами.

В Ерошке было нечто, отличающее его от хлыновцев, да и самая фамилия — Симелонский ничего общего не имела с нашими обычными прозвищами. С этой фамилией Ерошка нес в себе какую-то романтическую тайну, связанную с его происхождением. Когда его спрашивали об отце, он делал таинственного вида гримасу, задирал голову немного кверху и, смотря многозначительно в пространство, отвечал спросившему: «Мой отец погиб на посту чести». На этом заявлении и обрывалась биография, и более точных сведений от Ерошки добиться было невозможно. Правда, фраза «гибель на посту чести» нам всем была по вкусу, она давала большой простор для внесения в эту формулу любых нравящихся нам событий, но что за отец был у Ерошки, окончательно об этом так мы и не узнали…

Однажды, во время полива, прошла по аллее мимо нас Фелицата Акундинишна, племянница хозяйки, сирота, девушка полная, лет шестнадцати. В этот момент мой приятель стал неузнаваем. Он принял позу одного из «рабов» Микеланджело, изящно откинул лейку, издал глубокий вздох и печальным взором проводил уходившую в сторону дома девушку. Заметив эффект, произведенный на меня этой сценой, Ерошка посвятил меня в новую тайну его пылкого темперамента. Конечно, после надлежащего ритуала о хранении тайны приятель мне сообщил, что Фелицата — дама его сердца, со свойственным ему романтичным жестом он расстегнул рубашку и показал выцарапанную до крови букву «Ф»…

Тут я впервые узнал, что каждый мальчик должен выбрать себе «даму сердца», то есть девушку, о которой обязан постоянно думать, исполнять все ее желания, и «если будет нужно», прибавил в заключение посвятивший меня, то «истечь кровью у ее

ног».

У Ерошки все выходило красиво и очень правдоподобно, так, по крайней мере, мне казалось в то детское время, и я с полным рвением готов был последовать его примеру, но, к моему сожалению, сколько я ни шарил мыслью, я не мог остановиться ни на одной девочке, которая подошла бы к типу, создавшемуся в моем воображении. Более настоящая дама сердца, чем Фелицата, мне не рисовалась, и я даже спросил Ерошку о возможности выбрать дамой сердца ее же. На это мой великодушный друг, смерив мой рост глазами, ответил, что Фелицата велика для меня, что в случае опасности мне ее не поднять на руки, чтоб спасти от разбойников.

Мне запомнилось, что после этого моего посвящения в тайну Ерошки мои встречи с Таней приобрели новый оттенок. У меня по отношению к ней появилось небывалое до той поры чувство некоторой деликатности и стыдливой неловкости. Конечно, Таня ни в коем случае не могла стать для меня дамой сердца, чтоб для ее буквы я стал царапать мою кожу. Принять такой выбор — значило бы провалить весь подвиг истечения кровью у ног избранной (это у босых-то ножек Тани, взапуски шлепавших за мной по пыли и грязи). Таня самая простая девочка с темно-серыми глазами, с пшеничного цвета косичкой… Правда, она хорошо учится. По ней иногда соскучишься, если долго не видишь… Но стыдно делается от одной мысли, чтоб выбрать Таню по рыцарскому обряду Франциля Венциана и сообщить об этом выборе Ерошке.

Все это так, но при встречах с Таней я чувствовал ее и себя иными…

Ерошка сообщил мне прочитанный им рассказ о том, как где-то в цирке хозяин истязал украденную им девушку, а другие циркачи потешались над этим в угоду хозяину. И только один из всех окружающих девушку негр-силач жалел сиротку. Случилось так, что во время представления за какой-то пустяшный промах хозяин на самой арене так сильно ударил бичом бедную наездницу, что та потеряла сознание и упала с лошади… Тогда окончательно возмущенный негр, схватив в одну руку девушку, в другую — дубину, разнес циркачей и хозяина и унес страдалицу на свободу.

Для Ерошки этот рассказ стал примером его будущих подвигов, а определенная обстановка рассказа дала моему приятелю возможность сузить свой необъятный размах и найти некоторое существующее в действительности бытовое место хотя бы для начала карьеры.

Вторым, а по качеству, пожалуй, первым толчком для Ерошки

был уже приведенный ранее рассказ дворни о Фильке, хватавшем с неба звезды. Впечатление от последнего было как раз обратно цирковому; оно разнуздало Ерошкину фантазию и дало ей безбрежность. Со всем своим пылом приступил парень к разыскиванию колдуна-учителя, и эти розыски подтверждены были многими смешными и печальными приключениями среди деревенских знахарей, на водяных мельницах и среди городских шарлатанов. Неудачи не могли сломить Ерошку — они его закаляли. Приведу одно из таких приключений с Ерошкой.

Был у нас в городе цирюльник такой, Чебурыкин по фамилии. Жил он в своем домике по Телеграфной улице. Человек он был, как о нем говорили, «шиворот-навыворот». Пересмешник, язык острее его бритвы, словом, что бельмо на глазу был Чебурыкин у всей базарной части. На домишко его взглянуть было достаточно, чтобы вывести заключение о хозяине: дом был выкрашен розовой, клюквы с молоком цвета краской. Окна имели свои кокошники снизу. Над калиткой какой-то ненужный прорез. От фасада получалось впечатление такое, что домишко стоит вверх ногами. А для пущей неразберихи на трубе, на крыше, вместо стрелки или петушка, как полагается для флюгера, торчала жестяная ощетинившаяся кошка с задранным по ветру хвостом.

Я в детстве несколько раз попадал с отцом к цирюльнику, и мне всегда становилось не по себе под желтым потолком на белом от дерюг полу его зальца, со мной вместе отражавшихся в искаженном зеркале.

Пересмешничество Чебурыкина заходило так далеко, что в народе определенно поговаривали, будто Чебурыкин и Бога самого не признает за Бога, да и о царе «так себе подумывает». Ну, а что касается простых людей, горожан или крестьян, так их он унижал самым наизлостным образом. Бывали случаи, когда стригущийся с половиной выбритой бороды не соглашался с цирюльником признать себя худшим, чем это ему самому казалось, тогда Чебурыкин складывал бритву и заявлял посетителю, что над таким упрямым человеком он больше работать не намерен, и предлагал полубритому хлыновцу покинуть его кров. Сломить этого взбалмошного парикмахера на примирение было невозможно, это все знали, и поэтому пострадавший завязывал челюсти шарфом, подымал воротник и уходил разыскивать человека, обладающего бритвой.

В базарный день встанет Чебурыкин на перекрестке, плюнет себе под нота и, опершись руками в бедра, начнет внимательно рассматривать плевок. Любопытные сейчас же окружат его и тоже начнут шарить глазами по земле. Вырастет толпа. Наружные напрут на скучившихся в центре. Тревожные вопросы задних о

случившемся. Ответы впередистоящих:

«Человек, кажись, помер…», «жулика поймали» — еще больше распаляли любопытство напирающих. А к разросшейся толпе уже направляется полиция.

Виновник этого скопища после первого же образовавшегося вокруг него людского кольца незаметно уходил из толпы и усаживался где-нибудь напротив на крылечке, пересмеивая уже новую жертву, случившуюся около.

Появился как-то метавшийся по городу зеленый козел с красными рогами и, если бы не его голос, козла даже сам владелец протопоп не признал бы за своего, — так животное было неузнаваемо искалечено. Оставшаяся у Чебурыкина от покраски ярь-медянка, которой козел был выкрашен, и зеленый след, ведущий со двора цирюльника, выдали виновника «искажения козлиной видимости» (так названо было у мирового это дело).

Вот к такому человеку в руки попал Ерошка для изучения колдовского ремесла.

Издевался Чебурыкин над мальчиком, вероятно, не меньше месяца, покуда не дал ему последнее предписание: в голом виде и без креста обежать три раза вокруг собора. Дело было в сумерки. Ерошка разделся у алтарной ограды и побежал. На первом же круге он был захвачен прохожими. Благодаря худобе, костлявости и зажатому в руке нательному кресту, Ерошка отделался только трепкой волос и отводом в участок. Общий срам последовал за этим; наутро доставленный домой, к амбарам, Ерошка был всенародно и при полицейском выпорот матерью.

Дня три после порки не показывался Ерошка, а на четвертый день, как ни в чем не бывало, он работал со мной в саду и распевал, а я ему вторил, любимую песенку:

Растет, цветет калина
На месте, на горе, —
Кралина молодая
Служила при дворе…

По настроению моего друга было видно, что он полон новых уже предпринятых исканий. К причинившим ему лично зло он был незлопамятлив. О Чебурыкине он сделал неожиданный вывод, что-де не он, Ерошка, нарвался на цирюльника, а цирюльник на него — и поделом: «не связывайся недостойный с рыцарем, так как рыцарь стоит за правду, а причинивший рыцарю дурное — погибнет».

В это время на дворне случилось как бы семейное происшествие, которое на некоторое время отвлекло мое

внимание от Ерошки.

После описанного припадка кликушества у Васены в ночь движения звезд со Стифеем Ивановичем произошла перемена по отношению к молодой женщине: старик стал равнодушен к ней. Васена в долгу не осталась — ни пенок, ни другого лакомого куска ему больше не перепадало, а что касается починки белья, так кухарка перед всеми отказала в этом Стифею.

Одновременно с этим разладом у конюха Ивана завелись гребешок и зеркальце. К столу он начал являться причесанным на мокрый пробор. Во время еды сделался смешным, забывчивым. Уставится на кухарку, а у самого щи из ложки на стол капают. У Васены появился на голове пестренький, с цветочками, платок, а платок этот будто бы Иван с базара принес.

— Иваша, смотри, глаза о бабу занозишь, — подшутит Васильич.

— Да-к хоть бы и занозить, — зазору бабе не сделаю, — ответит Иван, ковыряя гребешком свои волосы.

— Ну, ну, — успокоит Васильич, — вали, парняга, она баба, екень ченоха, добрая…

Однажды я был оторван от захватившего меня чтения Оливера Твиста — в прихожую вошел Иван. Он был в чистой рубахе, с масляными волосами и в блестящих от дегтя сапогах. Хозяев не было дома. Иван помолился на медное распятие, поздоровался, — вообще был на удивление степенен и чинен.

— Мать бы мне твою, Анну Пантелеевну, — сказал он.

Я позвал прибиравшуюся в комнатах матушку. Иван долго ковырял ногтем выжженное самоваром на столе пятно, очевидно, обдумывая начало разговора, затем изложил суть прихода. Он собирался жениться на Васене и просил мою мать взять на себя посаженство, ввиду сиротства невесты, и похлопотать перед хозяйкой об оставлении и в дальнейшем того и другой на службе.

Прасковья Ильинична не только согласилась на брак, но даже определила поставить свадебное угощение. Среди дворни началась предсвадебная суета, озабоченность — могло показаться, что дворня дочь или сына к венцу собирала, — такая сердечная заинтересованность проявилась у всех.

Пропой был назначен в канун свадьбы. С утра пошел Иван на базар и позвал меня с собой для помощи. Накупил он всякой всячины: орехов волоцких, семечек каленых и семян тыквенных. Пряников парнушек и пряников мятных; леденцов голых и карамелек с картинками. Водки, сладкого красного и меду лимонадного, шипучего и два кольца серебряных для обручения. На рубль семь гривен разорился Иван — да уж сладко бы дальше жить… Несем мы с базара охапки покупок; у Ивана, кроме

прочего, — ящик на голове. Он оживленно взволнован и без конца говорит о предстоящей перемене жизни.

— Да, Кузьма Сергеич (для торжественности он именует меня по отчеству), такие дела раз в роду бывают, тут и рупь семь гривен не пожалеешь, коль жену себе берешь… Да, пришпилят ко мне бабенку, и не отвинтишься… Конечно, Ва-сена сирота, — большого ублажения требовать не будет, ну, а все ж таки… Тут, брат, как один другому потрафишь…

Иван заволновался от переброса мысли. При занятых ящиком руках он ткнул меня ногой сзади.

— А Васенка-то, а? Хороша Васенка-то? — С этим возгласом чувства переполнили Ивана, ему не хватало жестов. Он остановился, сложил на пустой ларек покупки и дал волю излияниям, наделяя Васену, очевидно, своими самыми любимыми сравнениями: и «здобью ядреной», и «яблоком румяным», и «булочкой пропеченной»… Мои спина и плечи страдали при этом от восторженных, дружеских хлопков Ивана.

Народу на пропое в деревянной кухне собралось очень много. Кроме наших, были отец и мать жениха, крестная мать невесты и другие их родственники. Начали с хозяйского угощения, то есть с еды, чтоб за сластями вкус не потерять. Ели чинно и разговоры вели чинные — об урожае, о деревенских событиях… Появилось оживление, когда убрали миски из-под жаркого и когда началось подслащивание горького выпивания. Иван чмокал на всю кухню подставляемую Васеной щеку. После этого разыграна была купля и продажа между сватьями и моей матерью — посаженой Васены.

Заиграла гармошка. Мой отец открыл танцы.

Я знал и любил, правда, с некоторой, присущей детям ревностью, безудержное веселье отца, заражающее других Вот и теперь я с некоторым волнением за возможность промаха следил за его плясом. С гармонией в руках он степенно, сдержанно прошелся несколько кругов с крестной Васены. Когда пожилая женщина утомилась и вышла из круга, отец переменил ритм гармонного перебора и понесся полом с выкриком в такт:

Ва-сенушку,
Свет Григорьевну, —

вызывал он на танец невесту.

В это время, думаю, не для одного меня неожиданно, от угла стола поднялась незаметная до сих пор Фекла-птичница. Неуклюжая, в пестром сарафане, с белым платочком на голове, оттеняющим всю некрасивость ее лица, Фекла сделала жест засучивания рукавов и бросила отцу:

— Невестушку заслужить надо, Сергей Федорыч… — и уткой выплыла на средину кухни. Отец, словно почуяв добычу, осторожно, мягко, одним скрыпом полусапог стал охаживать девушку и ласциться к ней… Фекла приняла исходное, плясовое положение: руки в бока, голова на-закинь и только слегка вздергивала то одним, то другим плечом, поддерживая ритм танца. При одном из заворотов вокруг нее отца Фекла дрогнула вся, как-то вытянулась корпусом и сорвалась с места, и каждая складка ее сарафана приобрела значение, рассказывая и выдавая переживания танцующей… Так в далекой Флоренции мрамор одежд Ниобеи рассказывает о трагедии матери.

Отец не выдержал, он понял высоту взлета, он на ходу с мелодии в мелодию передал гармонисту инструмент, а сам, как бы только сопутствуя девушке, стал делать перебои Феклиному ритму. Так сопроводительный синкоп подчеркивает мелодию фуги Баха.

Фекла царила, отец, как коврами пуховыми, устилал ей дорогу. В кухне не дышали. Я видел молодых и старых, захваченных повестью девушки. Я видел Васильича, младенчески одуревшего, видел, как из его зрячего глаза по корявой щеке сползла слеза, которую старик не заметил…

Фекла лениво, как бы проснувшись, вернулась на исходное место. Теперь настала очередь отца. Я видел, как он взволнован Феклой, но по его улыбке я понял, что он принимает танец, но что ему предстоит нарушить ноющую грусть этого танца. Удали и простоты хотела его улыбка.

— Эх-и-эх, — вскрикнул отец и закружился, задергался, заскользил перед Феклой.

Кухня охнула передышкой, загудела, снова показалось беспечно, просто рабочему люду на земле жить от отцовского пляса.

Танец закончила Фекла. Она согласилась с отцом — зазвенела вся в последнем круге — себя забыла и вдруг сразу оборвала и села на прежнее место, к уголку стола.

Еще не опомнилась кухня от виденного, как последовал вскрик Стифея Иваныча:

— Да как же так, — старик зажал руками голову, зарыдал в углу под киотом… Но он быстро овладел собой, поднял голову, крепко выругался. Потом вынул из кармана шаровар пакет, дрожащими руками развернул из него деньги и торжественно поднес их невесте.

— Тебе, Васена, на счастливую жизнь, — сказал он, вылезая из-за стола.

Васена догнала Стифея у самой двери и поклонилась ему до

полу. Старик поднял Васену, попридержал ее голову, словно хотел ее благословить, да не сумел, — ткнул пальцами в лоб, резко повернулся и вышел из кухни.

На следующий день для молодых была неожиданность: Стифей, заранее, потихоньку ото всех, выпросил у хозяйки лошадь для свадьбы, и вот в малиновой рубашке, в безрукавке, на красавице Матке с Иваном и Васеной покатил старик, непризнанный жених, в собор, а обратно доставил законным браком скрепленных Ивана да Васену.

После обеда молодожены с родными и я с ними отправились на ярмарку — был как раз ярмарочный разгар.

Ярмарки были большими событиями для хлыновских окрестностей. Помещались они за городом на южном выгоне.

Задолго до открытия мужики и бабы копили гроши медные, обдумывали закупки, обновки по хозяйскому обиходу и для ношения. Когда торговля открывалась, тянулись к Хлыновску со всех дорог на ярмарку люди. Выгон заполнялся плетюхами и рыдванами приезжих, а к вечеру по тем же дорогам разбредался народ восвояси. Яркие, цветные бабы на возах с обновами наружу. Ребятишки с дудками, с вертушками, с леденцами. Мужики в новых картузах с фабричными этикетками на околышах. Парни, свесив над пыльной дорогой ноги, хвастаются высшей модой — сияющими резиновыми галошами. Усталые, довольные, удовлетворенные желаниями, едут к себе домой люди и долго по деревням будут говорить об этой ярмарке.

Шум ярмарки разносился надо всем городом. Он начинался у Крестовоздвиженья, где у часовенки пред престольными образами вызванивали в малые колокола сборщики на церковь. По дороге к торжищу приютились другие церковки также со своими звонами. Вдоль заборов партии слепых с изъязвленными лицами, поющих тоскливые апокрифы и легенды. Гнус мужчин и визгливость женских голосов создают незабываемую надрывную мелодию о конце мира:

Пойдет, пройдет мать-река огненна,
Сожжет, прожжет всю тварь земную…

— о гибели сильных и красивых, о воцарении сирых и убогих.

На ярмарку пригоняли косяки степных лошадей. Узкоглазые хозяева их в ватных халатах, в остроконечных шапках, как дьяволы, носились на предлагаемых к продаже лошадях. Длинногривые, тонконогие, с большими головами животные, после тишины и простора степей попавшие в толпы зевак и покупателей, водили ушами, раздували ноздри, выбирая

возможность взвиться через барьер калды. Возле этой гуртовой торговли шныряли цыгане с их раздраженными до истерики лошаденками. В этом же месте на спуске выгона к большой дороге шли пьянство, трехлистка, орлянка, мена, обман и драки… Возле расхлябистых мужиков угрями увивались проходимые люди, показывали фокусы и вставленными в кольца ножичками вырезывали карманы у пьяных и разинь. Здесь же китайцы лечили зубы, деревянными палочками вынимали они из дупел крошечных красноголовых червячков — болезнь зубную.

Выше по горе раскинуты черные от копоти палатки оладошкиц, где замасленные насквозь бабы выжимали из ладони нежные шарики теста. Шарики укладывались один к другому на сковородку, трещали и пузырились в постном масле.

Оладьи, оладушки,
Для деда и бабушки.
Для малых ребяток
На гривну десяток.
Вот оладьи…

От оладошниц тянулся сладкий ряд, с черноусыми персами, заваленными инбирем, халвой, кишмишем, орехами в сахаре, миндалем, рахат-лукумом. Рядом же, не вздоря с Востоком, поместились тульские пряники, именные, медовые.

В центре находились красные ряды, посудные, обувные, трактир с водкой и сторожка, она же полицейский пункт и пожарное наблюдение. Здесь в пристроенном к сторожке чулане был каземат с хряском зуботычин и с пьяными ревами.

Шум ярмарки разнотонный, разноголосый, пропитанный сдобно-удушливой пылью. Шум, как в бане, со всплесками отдельных, близких звуков: карусельных гармоний, взъерошенной песни, свиста… Но есть выделяющиеся из этого шума звуки — их нельзя не слышать, они издали заставляют трепетно биться детское сердце; это медные трубы театральных балаганов. Это они влекут к накрашенным уродам-клоунам и к существам в сверкающих фольгой и позументами костюмах — юношам и девушкам, столь особенным и таинственно прекрасным на фоне Хлыновска.

Сколько в те годы поселил я воображения и красоты в убожество этих балаганов! Но и сколько классических масок выловил я в них, чтоб разбираться потом в живых человеческих ликах…

С таким вот восторгом протискался я к балагану, на крыше которого доигрывался очередной каламбур, как ошалел от

изумления: у кассы, облокотившись о столбик, стоял Ерошка. Изумительно было не то, что Ерошка стоял у кассы, а то, что на моем длинном приятеле были надеты трико и туфли, видневшиеся из-под пальто.

Тем не менее мы бросились в объятия друг друга. Ерошка бесплатно усадил меня на первое место, и здесь я увидел претворенного, неузнаваемого Ерошку, на нем было голубое трико, он прислуживал жонглеру-фокуснику; он же открывал и закрывал занавеску сцены.

Прошло три года. В Хлыновск приехал цирк и раскинул свои парусиновые своды на Новом бульваре. Среди артистов был Ерошка. У него уже был собственный номер на трапециях. Упоенный успехом у хлыновцев, гордящихся своим артистом, Ерошка отнесся ко мне свысока. В разговоре словно умышленно употреблял он непонятные мне цирковые термины. Чтоб не выдать мою неосведомленность, я не спрашивал у Ерошки разъяснения. Расстались мы сердечно, я даже бегал на «Владимира Мономаха», — с которым отбывал цирк, но я с грустью отметил себе, что с Брошкой мы разошлись. Он перепрыгнул в своей жизни через меня, оставил меня позади барахтаться в хлыновском окружении.

После этой встречи надолго исчез из моих глаз и из памяти Ерошка. Мой выскок на широкую жизнь был труднее. Обрывками каких-то случаев, ведомый интуитивным желанием, пододвинут я был к моей профессии. Как листья артишока, отваливались, одна за другой, навязываемые со стороны возможности стать механиком, железнодорожником, учителем, и оголилась одна возможность, неминуемая, — упереться в живопись.

Чтоб осмыслить сущность дела, которому собираешься жизнь отдать, для этого советчика не найдешь. Люди далеки от этой фантасмагории изображения на плоскости. Бывало, стыдишься назвать свою профессию, чтоб не увидеть у спросившего тебя об этом сострадательной улыбки, хотя бы спросивший и был просто-напросто комментатором, болтающимся между нас, людей, занятых делом.

Приблизительно в эти годы ехал я на летние уроки. В одном из южных губернских городов я принужден был застрять в ожидании попутчика, который бы меня доставил дальше в уезд. По дороге в гостиницу со столбов и заборов пестрели мне в глаза афиши цирка.

Остановила меня, в сущности говоря, перед афишей только одна жирная надпись посредине листа, гласившая:

ЧЕЛОВЕК-ПТИЦА. ВОЛШЕБНИК ПРОСТРАНСТВА

ИЕРОНИМ СИМЕЛОНСКИЙ

Сразу я даже не связал этой афиши с Ерошкой, так я был далек от него годами и месяцами. Фамилию Симелонского я или забыл, или узнал только в эту последнюю встречу, и только производность Ерошки от Иеронима припомнила мне моего давнего приятеля.

Я был очень обрадован возможностью увидеться с Ерошкой. И, объезжая на конке город и съедая в трактире пресловутую селянку с яичницей, я был занят мыслями о свидании и подгонял время отправкой открыток друзьям и матери.

До начала представления я уже был в цирке. Я люблю ожидание зрелища. На арене полусвет, горит внизу одна дежурная лампа. Вверх, в темноту свода, уходят столбы и веревки. Пахнет конюшней и свежими опилками. Заржет в стойле нетерпеливая лошадь и бьет копытом, ей откликнется человеческий голос команды. Оркестр начнет настраивать инструменты: свистнет флейта, взовьется английский рожок; глухо заворчит подъездом тона турецкий барабан… Алло, алло, — врежется в звуки меди голос наездника… Выступление Симелонского было во втором отделении. На мою справку, здесь ли он, мне ответили, что артиста сейчас нет, что он обычно прибывает к антракту, ответили вежливо, тоном, выражающим уважение к лицу, о котором я справлялся.

Цирк был из солидных, судя по количеству животных хорошей дрессировки, по костюмам артистов и по клоунаде. Рядом со мной сидел человек в просвещенской форме, он детально разъяснял программу цирка сидящей с ним рядом даме, с кудряшками из-под шляпы и с мопсовой мордочкой, несомненной учительнице по естествознанию. Я вмешался в разговор, желая узнать кое-что о Ерошке. Сосед охотно и с увлечением рассказал мне о том, насколько знаменит мой друг и что его цирковая работа имеет в себе научно-экспериментальный характер, о чем он, преподаватель физики в местной гимназии, свидетельствует.

На мою записку, к началу антракта, я получил ответ, в котором Ерошка просил меня зайти к нему после его выступления.

Началось приготовление к центральному номеру программы. Растянули сетку, спустили веревки из купола, проверили каждую. Верхние рабочие с ловкостью обезьян пригнали на места трапеции и открыли прожектор. На арену вышли артисты цирка, выстроились, как на параде, и наконец, под маршевые звуки оркестра, сопровождаемый лучом прожектора, появился мой

приятель. Весь в сине-голубой гамме своего трико, с его озаренным, как и прежде, но возмужалым лицом, со стройными, не громоздкими мускулами, с прической блондина, короткой, волнистой стрижки, Симелонский был хорош. Да и приятно ахнувший амфитеатр, при выходе артиста, подтвердил это.

Я не знаю, были ли до Ерошки в цирках подобные номера над растянутой сеткой, но позднее, особенно за границей, мне приходилось видеть подобное. Цель и воздействие на зрителей у мастеров акробатики заключались в показании «падающего полета», полной отдачи себя закону притяжения с эффектами вращательных движений (курбетов) вокруг горизонтальной оси тела. Падение, перебиваемое утешительными задержками на курбетах, — это и действовало на зрителя, как замирание его собственного сердца, как перестановка его ритма на ритм артиста. Зритель как бы про себя, но с затратою тех же мускульных напряжений, что и акробат, проделывал захватившее его движение.

Способ воздействия у Ерошки оставался тот же, но качество и цель движения были совершенно иными.

Уже самый подъем кверху, откуда Ерошка сделал свой рекордный номер, был необычен: с нижней трапеции, минуя сетку, он переметнулся на другую сторону цирка, на трапецию большей высоты. Отсюда в лестничном порядке подымались другие трапеции, на которые взметнулся артист, чтоб достигнуть наивысшей из них; таким образом Симелонским описан был огромный круг подъема, причем нельзя было уловить никакого мускульно-двигательного замешательства, так просто, как по лестнице, вбежал артист на последнюю высоту.

Здесь, после отдыха свободной балансировкой, которой Симелонский как бы предлагал любоваться зрителям на стройность человеческой формы и заодно дать время убрать и подтянуть лишние веревки и трапеции, оставив лишь одну, находившуюся у противоположной стены цирка, после этой передышки по данному знаку артиста оркестр заиграл «быть готовым». Застучали барабаны, нервы зрителей напряглись.

Ерошка скользнул с трапеции, и одновременно оборвался грохот оркестра, а в замершей тишине надо мной я увидел странное зрелище. Надо мной плыл человек, скользил, летел, — не знаю, как назвать это, — волнообразно ритмическими движениями перемещался к находящейся перед ним трапеции…

Мне особенно запомнилось одно ощущение от «неправильно», «незаконно» движущегося человека: среда, в которой человек находился, казалась густой, как вода, — так характеризовали эту среду все движения «летящего», — он пробирался сквозь нее, как

рыба…

Вот Симелонский делает что-то новое в его до сего момента системе движения, перевертывается в воздухе и, что «бессмысленно» по невозможности, по непривычке видеть это, — подымается кверху и захватывает свисающую над ним трапецию…

Не сразу подняла радостный рев толпа, рев восторга: ведь и они и я, через него мы побывали в каких-то, лишь во сне являющихся нам, условиях… Затем снова грохот барабанов, и милый колдун, стоя на трангле трапеции, вытянул фигуру и дал себе волчковое вращение и, как влюбленный в пространство, доверившийся всем его законам, сорвался вниз и, как парашют, опустился в сетку; продолжая вращение, он дал несколько рессорных отскоков и взялся за вспомогательную веревку. Улыбаясь, поклонился кипящему амфитеатру и соскочил вниз…

Ерошка встретил меня просто и ласково. Ужинали мы в ресторане гостиницы, где он жил. Беседа наша затянулась надолго. Он мне дал много разъясняющего его работу. Между прочим, этот его номер предложен был Симелонскому одним стариком клоуном-жонглером. Номер должен был быть трюковым, основанным на оптическом обмане спускающихся трапеций и движения гимнаста.

Номер не удавался, чуть не стоил Ерошке головы, но на неудаче этого опыта у моего друга возникла и развилась какая-то новая система управления собственным телом.

— Однажды я должен был упасть. Я упал, но не разбился, и это «управляемое» падение и научило меня многому, — сказал мне Ерошка.

В Харькове Симелонского подвергли научному обследованию, физиологи и физики всячески старались докопаться до причин легкости тела, достигаемой артистом при полетах. Один ученый прислал гимнасту длинное письмо, обличающее «фокус» полета, что-де по линии движения, конечно, пропущен сильный электрический ток, а на артисте, очевидно, имеются аккумуляторы…

— А у нас в цирке, кроме керосино-калильных ламп да волшебных фонарей, никаких аппаратов не имеется. У Дурова там в столицах еще можно бы предположить ерунду такую…

— А если бы я сам знал, как я это делаю… — грустно закончил Ерошка.

Теперь он подписал контракт в Германию, вот только как закончит здешние условия.

— И все-таки все это не то, Кузьма. Мне нужна школа. Вот теперь, отсюда надо бы мне школу, а такой школы, говорят, и на

земле нет. Видишь ли, еще не додумались ученые сухари… Вот у немцев разве… А помнишь Чебурыкина?… А ведь этот прохвост цирюльник не дурак был. Действительно, он прав: надо от многого отвыкнуть, что кажется умным и законным для дураков.

Встреча с Ерошкой вскопнула во мне много новых, глубинных вопросов об органическом творчестве, о возможностях и умении отдаться этой работе через мою профессию…

Под утро разошлись мы. Крепко расцеловавшись с какой-то особенной нежностью, словно предугадывая, что мы уже больше не встретимся.

Рассвет застал меня за письмом к Кире, в то время студенту политехникума. Я знал, как вопросы механики и биомеханики близки Тутину. Письмо разрасталось. Оно было, вероятно, бредовое по изложенным в нем фантастическим возможностям, ожидающим человека в дальнейшем его органическом развитии… Я бы никогда не окончил письма, а, вероятно, запутался бы от впечатлении ночи и усталости и разорвал бы его, если бы в этот момент в дверь ко мне не сунулся мужик и, указав на меня кнутовищем, не сказал:

— Ежели к Миколаевым на хутор изволите, так это меня за тобой прислали… По холодку доедем.

«Целую и обнимаю, твой друг» — скляксил я последнюю строчку, чтоб не задержать письмо отправкой.

Глава семнадцатая
В ОДНУ ИЗ ЗИМ

С зимой у меня связано одно из ярких воспоминаний о Тане. Да зимой мы и виделись с нею чаще, чем летом. Бабушки соберутся вечерять в избушке Андрея Кондратыча или у нас — тут и мы с Таней. Учим уроки, проверяя один другого, или читаем по очереди. Старухи прялками шуршат, а мы в тридевятом царстве за каким-нибудь Бовой-королевичем гоняемся мыслями. А бывало и так, разойдется которая из старух и заведет свою сказку. Потянет то летним лесом сосновым, то бурей зимней завоет сказка. Мчатся, едут сильные и могучие: туда — не знай куда, привезти то — не знай что. Дел не переделать и время девать некуда; медленно за солнцем движутся времена и люди: прийти не придут — лишь бы шли; найдешь либо нет — были бы поиски.

Начало Тани относится ко времени и моего появления на свет. По рассказу Андрея Кондратыча, ее приемного отца, которого Таня упорно называла дедушкой, начало с девочкой обстояло так.

Под Сретенье произошло это. Уже к утрени отблаговестили. Брел он вдоль порядка окраинной улицы, рассчитывая дойти до углового дома, присесть отдохнуть там, да и восвояси. Ночь уже рассеивалась. Серело по горизонту за Волгой. Идет Кондратыч и слышит — впереди него вдоль домов кошка замяукала. Прислушался чутче: словно бы не кошка — ей рано таким голосом упражняться — чай, не март месяц. Еще прислушался — и оказывается, словно ребенок хлипает. Откуда ребенку быть? Сквозь избу разве, — да не услышишь так ясно сквозь избу. Идет, рассуждает, вслух себя спрашивает, чтоб веселее было, а звук все яснее делается и ни в какой кошке тут дело, — плачет дитя малое. Только заглушенно плачет, словно из-под завала какого. Прибавил шагу. Поравнялся с шатровым домом Голикова, у которого крыльцо наружу выходит, и — ничего в этом месте не стало слышно. «Померещилось», — думает Андрей Кондратыч. В это самое время на нижней улице два человека, не то рано вставших, не то еще не ложившихся, вступили в перебранку. По голосам — не воры, но надоумить их надо. Кондратыч зачокал караульными палками:

Эй вы, там,
Которым не спится, —

Спать не мешайте другим.

Стуком палок и было, очевидно, окончательно потревожено живое существо, находившееся в одноручной корзине на крыльце шатрового дома.

— Хвать я за корзину. Дрожу весь. Небесные силы — младенец погибает! Мороз стоял крепкий тогда. Расстегнул я ватошник. Сел на приступь, а корзинку себе на колени взял и окрыл полами. Сижу, думаю, о судьбе детской горюю, а корзинку ногами раскачиваю, словно зыбку. В корзинке и затихло, уснуло. На улице как днем сделалось. Не утерпел я — быстро, быстро приоткрыл ветошь, да пеленки до головки самой и увидел существо одинокое, человеческое, в брось брошенное. Ухватило меня за сердце. Кому отдать? — себя спрашиваю, — а коль и те выбросят? Не буду отдавать, пусть эта жизнь будет мне, бобылю, предоставлена. Укрыл, укутал, да, видно, разбудил, — опять запищало дите. Взял корзинку на руку, застукал песенку-баюшку и к избенке спешу — только бы не оскользнуться. Вот так оно и было дело.

В корзине оказалась девочка. Поверх распашонки на ней был крест староверческий с «да воскреснет Бог и расточатся врази Его». К гайтану была прицеплена бумажка со славянской надписью с титлами: «Татиана. Святое крещение возымела Генуария 28. Пречистая Владычица, в руце Твои предаю плод сей… Люди добрые, простите матери грех великий…»

Первые дни мои бабушка и мать возились с ребенком. Потом Таня перешла на присмотр к сестре Андрея Кондратыча — Анне Кондратьевне, бездетной вдове, жившей недалеко от избушки брата.

С первых же лет стала слышать Таня о себе: «подкидыш», «сиротка», «безродная». Хлыновки своей жалостью могли кого угодно с ума свести. Как начнут сиротинить да оплакивать «дите без роду, племени», «участь горькую без родной мамыньки», то на любого и взрослого тоску наведут, а ребят изводили хлыновки в совершенстве. На поминках, бывало, придут с кладбища, сиротки ребятишки тут же в избе играют. Вот бабы и начнут жалость распускать — сиротки в рев ударятся, целый день не свои будут, игры бросят, только успокоятся, а бабы и завтра и долго потом на сиротстве чужом будут себя тешить, причитать да плакаться.

Казалось, что любовь к детям такая нежная, но ведь каждая из них драла самым беспощадным образом своих племенных малышей. По военным кликам и не разберешь, бывало, кого такая хлыновка избивает: «Пащенок, выкидыш, паскудник эдакий, ни

дна тебе ни покрышки», и все эти термины отпечатывались на сиденье дитяти.

К счастью для нашего брата, матери дрались плохо. Ребятишки приблизительно с трех лет уже знали приемы выскальзывания из рук и колен матери, так что бедная родительница сама себе наделывала синяков, не попадая по отпрыску. А с шести-семи лет ребята уже настолько овладевали быстротой ног, что редкий из них давался в руки раньше, чем умученная в беговом соревновании мать делалась безвредным бойцом.

Отцы реже били детей, их энергия обычно разряжалась на женах. У отцов рука тяжелая, да и столкновений с детьми меньше. Но случаи калечения ребят от не удержавшего руку отца бывали.

В последних примерах как будто любви к детям мало у хлыновцев, но и это не так. Иная баба будет охалить своего ребенка на чем свет стоит, а вот попробуй кто-нибудь со стороны хотя бы чуть заметно согласиться с ней, — баба сейчас же становится тигрицей, готовой глаза любому вырвать в защиту своего детища. Ссоры из-за детей в Хлыновске приобретали часто характер вражды одной улицы с другой, вражды настолько крепкой, что вырастали дети, забывались причины, родившие ссору, а неприязнь оставалась годами. Личные оскорбления принимались проще, чем задевка чем-либо обидным детей.

Так протекала в Хлыновске выработка и защита вида.

Один из товарищей моего отца по учению у Акундина, Иван Маркелыч, развил и хорошо поставил сапожное дело в Хлыновске. Он выписал из столицы колодки, заготовки. Хлыновцы облегченно вздохнули, получив возможность иметь приспособленную для ног обувь. У Маркелыча даже шились рантовые сапоги, конечно, по специальному заказу.

Из крошечной хибарки у оврага в одно окно сапожник перебрался в шатровый домик к центру. Здесь принял он на себя староство ремесленной управы и получил возможность развернуть свой организаторский талант. Не отходя от верстака, с засученными рукавами и в фартуке, решал он управские дела, — дышал, поплевывал на печатку, коптил ее на свечке и ставил деловито кляксу, изображающую сапог с надписью вокруг него. Дела старосты такой неспокойной корпорации, как сапожники, которых не могли облагородить даже такие чистотелы, как портные и шапошники, дела эти не исчерпывались казенными бумажками. К Ивану Маркелычу, или к Ване Маркелову, как его звали члены, приходили и по семейным делам, дракам, пропойству у бедной семьи заработка, наконец, по свадьбам и

похоронам. Маркелыч всему толк знал и «своего брата ремесленника в обиду и срамоту не отдаст», и обычно самые грязные, избойные дела кончались чистыми у верстака старосты.

Иван Маркелыч вел и просветительную работу, желая дать своим товарищам разумный отдых и развлечение. Сам не пьющий, он искренно желал отрезвления сапожнической среды. Полуграмотный человек, он устроил библиотеку у себя в доме. Это был хаотический подбор книг и журналов, где каждый экземпляр пропитан был сапожным ароматом и кляксами вара и чернил. Иван Маркелыч сам делал на книгах наклейки номеров, завел тетрадь для отметок поступления и выдачи книг. Сам же лично выклянчивал в городской управе завалявшиеся издания, сияющий нес их домой, нумеровал и укладывал на полку.

Да что библиотека, староста по совету ли кого или по верному своему разумению основал ремесленный клуб с крошечным членским взносом. Вначале в клубе были одни скандалы, приносили водку или приходили пьяные. Однажды вольновские сапожники избили маячных, сводя какие-то счеты о девках, но с каждым собранием в клубе становилось спокойнее. Пили чай, играли в шашки, в дурачков в карты, изредка танцевали под гармонию. Перезнакомившись, начали сознавать свои общие интересы, обсуждать их.

Пожалуй, и было бы все хорошо и пошло бы дело, если бы не припутался к клубу Чебурыкин и не начал головы сверлить. Понесет цирюльник слова разные и верные будто, а будто и околесина, злобу развивает, а утоления не предлагает никакого. Стали резонить его, чтоб отделаться: какого, мол, ты лешего, ремесленник, — втираешься только, а тот все права свои языком излагает: де заработок мой от ручного уменья моего имею, так кто же, мол, я, по-вашему?

Ему на это: попы вот в волосьях и с бородами ходят, а деды наши и ножниц не знали, а ты, неприкаянный, только морды человечьи пакостишь, да еще в мастеровые лезешь. Чужой ты нам, козлиный маляр, — это уже в сердцах ему сапожники говорили.

Одним словом, покуда Чебурыкин насмешничал только вообще над людским естеством, клуб продолжал работать; ну, а когда из людских естеств стали у цирюльника всплывать то городской голова, то судья, то исправник — клуб предложили закрыть.

Задумал Иван Маркелыч город удивить своей ремесленной управой. Месяца за полтора до святок начались приготовления к вечеру-елке, который должен был состояться в одной из городских гостиниц. Для детей, кроме раздачи грошовых подарков, готовили спектакль, в котором и я участвовал,

исполняя роль девочки.

Настал столь жданный день. В битком набитом зале, впереди елки, поставленной у стены, было расчищено место для нашего представления. Декораций, конечно, не было; были стол, табурет и скамейка За скамейкой — дремучий бор, куда меня, Аленушку, завезла и бросила злая мачеха. На мне красная юбка моей матери и ее же белая кофточка. Зрители верили мне, что я девочка, так же как Мише, сыну Ивана Маркелыча, в вывернутой мехом наружу шубе, что он есть настоящий волк. Страшная Баба-Яга была действительно страшной. Миша-волк не по ходу пьесы прижимался ко мне, а у меня по телу ходили мурашки, когда появлялась с паклевыми волосами, с маской на лице, верхом на метле злодейка Яга.

Зала гостиницы была полна человеческого тепла и праздничного удовольствия. Вплотную до самых окон сидели и стояли зрители. Окна белели густо промерзшими узорами. В открывающуюся на лестницу дверь врывались клубы пара.

Излагая свою роль, я увидел в детских рядах Таню. Она не спускала с меня глаз, — серые, большие, ночью казавшиеся темными, они не отрывались от меня и отражали в себе мои актерские переживания. Близость друга-девочки дала мне подъем и увлечение игрой. Страх, что я забуду слова роли, исчез. Я превратился в настоящую Аленушку, очутившуюся в лапах лесной старухи.

Яга ложится спать на печку (на стол, по условиям сцены), охает, кряхтит, стучит клюкой о накаленные кирпичи печи.

— Так смотри же, Аленка, не проспи: чтоб и хлебы вовремя испечь, и воды натаскать, и баню вытопить, — говорит Яга, засыпая.

Успех у зрителей огромный. Передние детишки затаили дыхание. И страшно и весело. Отсюда в пьесе мое лучшее по эффекту место (пьеса сочинена по сказочному материалу Маркелычем).

Родная матушка, будь ты жива, ты спасла бы твою дочку. Мама, мама… — прямо в глаза Тани проговорил я этот призыв, и в зале послышались всхлипы.

— Ах, нет, я не буду спать.

— Буду волка ждать, — воскликнул я, полный надежды на спасение. И навстречу Мише, путающемуся в шубе и ползущему из-под стола, кричу уже радостно:

Серый волк идет,
Он меня спасет.

Баба-Яга в страхе бросается с печи (со стола) и уползает в полном бессилии. Серый волк мчит меня сквозь лесные чащи к задней стене, за елкой.

В зале шумное удовольствие, — завозились, запрыгали ребятишки от благополучного конца, всем стало радостно.

Ко мне протискалась Таня. Она возбуждена, щеки ее румянились, глаза блестели. Трогает меня за руки и говорит в самое ухо:

— Ты был такой хороший, совсем особенный. Следом подходят мой отец и Анна Кондратьевна.

— Ну, что, напрыгался, сыночек? Доволен? Вот и хорошо, — говорит отец, трогая мою голову, — теперь домой пора.

Я как во сне. Ничто не похоже на всегдашнее. Снимаю юбку и кофту; отец заворачивает их в узелок.

Возвращаемся вместе на Малафеевку. Ночь трескучая, словно из хрусталя тонкогранного. Небо и земля сверкают кристаллами снега. Полная, бегущая следом за нами луна. Сиянием пронизаны даже тени от нас, домов и деревьев. Каждая ветка, каждая прядочка волос, выбившаяся из-под платка Тани, оконтурены инеем. Хрустит под ногами снег.

Мы оставили далеко сзади себя старших. Мы бежим, греем ноги, хлопаем руками. От бега и резкости морозной мы устали. Беремся за руки, как конькобежцы, и в ногу шагаем, близко прижавшись друг к другу.

— Ты никогда не был такой хороший, как сегодня, — говорит Таня, — а я? — вскидывается она на меня вопросом.

Я растерянно-радостно смотрю на Таню, на ее улыбающееся лицо и тоже улыбаюсь.

— И ты тоже, — говорю я, целую девочку и чувствую, что это мой настоящий, верный ответ.

Таня сделалась серьезной. Мы остановились на Камышинке у перил моста, в кружевной полутени, падающей от деревьев.

— Я обещаю тебе, что я всегда буду тебя любить, — неожиданно не по-детски торжественно сказала Таня, сжимая мою руку. — А когда мы станем большими, тогда мы женимся и будем всегда вместе.

Я чувствовал сквозь варежку, как дрожала ее рука, и как вдруг застучало у меня в груди, и как мне сделалось дорого это милое лицо и вся она родная, близкая девочка. А где-то в глубине встало сознание тайны происшедшего, тайны ото всех.

— Ты сделаешь так же, как и я? — настойчиво воскликнула Таня.

— Да… — сказал я.

В ночи словно что-то треснуло пополам, как стеклянный шар:

Таня, как бы клянясь в обещании, поцеловала меня, плотно коснувшись моих губ.

Треснуло это во мне: где-то, за кристальной морозной ночью, покинуло меня мое детство. И на сердце у меня первая печаль оттого, что я счастлив…

На Вольновке застучали палки караульщика.

— Дедушка ждет нас, бежим к дедушке, — словно радуясь случаю, воскликнула Таня.

Мы бежали серединой улицы. Московская была пуста, но в некоторых домиках сквозь щели ставней виднелся свет. В Хлыновске ложились рано: зимой и летом с темнотой вместе. Исключение составляли ремесленники, засиживавшиеся за спешной работой, да в редком доме грамотей либо начетчик какой, упиваясь книжной мудростью, коротали ночь. В описываемую ночь давали себя знать святки. Мы подбежали к Михеечевой улице. Через ее пролет, в следующем квартале, на белизне снега маячила тень Андрея Кондратыча и чокали его палки.

В это время из-за угла от Волги бросилась к нам темная масса животного, по хрюканью которого мы определили его свиньей. Быстрота и неожиданность этого появления помешали мне разобраться в очертаниях мчащейся на нас массы. Дополнившее наш испуг было и то, что бег этого животного был направлен на нас; вначале свинья бежала наперерез нам, и, казалось бы, ее ближайшим путем была Михеечева улица, она же, поравнявшись с нами, быстро свернула перпендикулярно к нам, шмыгнула между наших ног и бросилась к порядку домов.

Таня и я упали от толчка в наши ноги. Когда я поднялся, свиньи нигде не было видно, верно, она исчезла в одну из ближайших подворотен… Чуть не плача от испуга, Таня шептала:

— Это оборотень… Он хотел нас утащить или съесть… я не знаю, что они делают, но это был оборотень.

Андрей Кондратыч, услыша наш крик при падении, прибежал к нам и был удивлен нашему сообщению. Забавно, что Таня и я по-разному передавали описание свиньи: по ее выходило, что свинья с белыми пятнами и с оскаленной пастью, я же запомнил черно-бурую массу, которая только у головы казалась немного светлее. Пасти я не видел, но видел два резко торчащих уха, острых, как палки.

Кондратыч поуспокоил Танюшу и занялся расследованием события. От места, где мы свалились, он стал рассматривать следы. На притоптанном снегу трудно было различить что-нибудь, и только на повороте, откуда появилось животное, был довольно свежий сугроб, и Кондратычу удалось установить на

нем следы, но эти следы были такие странные, что только запутывали разгадку: их было четыре, два передних были огромные, как валеночные ступни, а задние наоборот — глубокие и величиной куда меньше свиного копытца. В противоположной стороне, куда животное скрылось, на снежном бугре метка повторилась, но лишь в три следа, при одном глубоком заднем.

— Видать, кто-то вас попугал, детушки… — заключил Андрей Кондратыч.

В это время подошли к нам отец и бабушка Анна. Снова наперебой рассказали мы о происшествии с нами, причем свинью называли уже прямо оборотнем.

— Господи помилуй, — перекрестилась при этом Анна Кондратьевна, — померещилось, чать, вам, пострелы.

Отец принял всерьез нападение на нас; ему было все равно: свинья, оборотень или человек, но кого-то надо разыскать и урезонить… Он и Кондратыч направились по порядку домов, осматривая ворота и калитки, и вернулись оба в большом недоумении. Обнаружилось два подозрительных дома: в одном оказалась незапертой калитка, а к другому привели свиные следы. В первом жила старуха, двоюродная тетка отца, страдающая всеми немощами, еле передвигающаяся с помощью квартирантки-подруги, такой же старой, как и хозяйка… Второй, пустой дом принадлежал Осею Елову, пьянице, умершему в прошлом году от опоя. Дом был с развалившейся крышей, с дырами в стенах и с забранными кое-как досками окошками.

О наличии свиней в обоих домах не могло быть и мысли и что касается оборотничества, тоже как будто ему здесь нечего делать…

По лицам и по перемене настроения взрослых я понял, что мысль о настоящем оборотне, помимо воли их, овладела взрослыми.

До келейки шли молчаливо. Кроме пережитой жути, у меня оставалось приятное самодовольство от происшествия. Я старался и не думать о том, что это мог быть не оборотень, и заранее лакомился, предвкушая мой рассказ товарищам в школе и дворне о необыкновенном приключении.

С этой ночи слухи об оборотне загуляли по городу: с нами, оказывается, был не первый и не последний случай.

Московская в этом месте в ночную пору стала непроходимой. Парни, которые посмелее, залегали с кольями сзади подворотен и калиток, выслеживая появление свиньи, но никакой слежке не удалось захватить животное врасплох — оно объявлялось в другом месте. По ошибке убили краюхинского борова, попавшегося на улице в сумерки возвращавшимся с базара

мужикам. Старухи уверяли, что оборотни явились либо к войне, либо к мору.

На Вольновке, правда с другого конца от свиньи, обокрали дочиста бакалейную лавочку. Как-то на Масленой неделе произошло несчастие пострашнее. В городской части, недалеко от собора, пешники, обкалывавшие ото льда баржи, возвращались затемно домой на Горку. Вдоль забора пустыря Колоярова они заметили подозрительное животное, шмыгнувшее от них на пустырь. Мужики бросились за ним, увидели что-то пушистое и темное, похожее на зверя, притаившееся за баней, и один из мужиков пешней насквозь просадил эту темную тушу. Раздался страшный человеческий вопль корчащейся шкуры.

Зажгли серники и отступили в ужасе: из шкуры торчала голова Чебурыкина. Дошутился бедный цирюльник! Он жил двое суток и открыл обстоятельства своего несчастья. Чебурыкин просил, чтобы его не смешивали с оборотнями, что это он оделся в вывернутую шубу только для того, чтобы попугать соборного дьякона, который очень смешной в испуге и который должен был в то время возвращаться от всенощной. Что такую дурость он сделал первый раз в жизни и просит не винить пешника за убийство, что темноту просвещают, а не играют с ней, как делал он, Чебурыкин, за что и поплатился.

— Ум хорош для дураков, а для умных гибель, — в последний раз перед потерей сознания пошутил Чебурыкин.

Умер бедняга от общего заражения крови. Мучился, но не жаловался, только зубами скрипел, когда не сдержать было боли.

Хоронил Чебурыкина весь город. Запомнили от него только веселое. Дьякон, произносивший «о блаженном успении вечный покой», поперхнулся смехом на этом месте, потом каялся, что-де только дошел до высокой ноты, посмотрел на протоиерея и сразу в глазах, как живой, козел зеленый явился, как дьявол смешнущий…

Говоря по совести, хлыновцы не были черствы сердцами, а главное — они ценили юмор, который задевал соседа…

Хороши бывали в Хлыновске зимы.

Глава восемнадцатая
ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Над вымыслом слезами обольюсь…

Пушкин

Дождя долго не было. Крестьяне печалились о посевах. Я по огороду замечал, что, как ты его ни поливай, — все не то, цвет ботвы не такой. Пыжутся побеги от моего полива, а ножки у них чахлые, вот-вот желтеть начнут…

Я выходил из сада, когда полил дождь, теплый, крупный, такой, какого ждали, чтобы напитать землю. В это время во двор въехало несколько извозчиков с семьей Полинского, судейского чиновника, снявшей у Махаловых верх каменного флигеля и кухню. В составе семьи было пять человек детей, из которых мальчик Вова был на несколько месяцев моложе меня; старшая сестра его — на год меня старше, а остальные три — моложе Вовы.

Этот приезд произвел некоторую встряску в моей жизни, к тому же он совпал с началом моей юности. Полинские были подбором приятных лиц, начиная с матери, с копной блондинистых кос, увитых на голове, с немного полным, мягким лицом. Нежный оттенок кожи Марины Львовны, с играющим под кожей румянцем, был передан милым, как куколки, детям. Сам Полинский, с пышными баками, обладал миндалевидными глазами и мраморной белизной кожи, как бы по ошибке доставшимися мужчине.

Надо сказать откровенно, принятие этого канона лиц за красивых могло произойти для меня и по другой, гигиенической причине, — ведь это была, пожалуй, моя первая встреча с детьми, которых часто моют, за которыми ухаживают няни и гувернантки. Чистота, может быть, играла большую роль, чем эстетика.

Улыбка свысока, одними губами, с лиц родителей перешла и на лица детей. В улыбке была, очевидно, пустая кичливость, но она их всех вздергивала, как мне тогда казалось, на высоту, недосягаемую для хлыновцев.

Как бы там ни было, но пройдет немало времени, раньше чем я освобожусь от этой моей привязанности, в которой так путано были расположены мои чувства дружбы к Вове и любви к его

сестре, любви тайной, без поведания предмету любви.

Приезд Полиысских всколыхнул меня. Силы мои были двинуты с места, находили применение: я начинаю фантазировать, рисовать, проявлять геройства, достойные мальчика; я перестал бояться темноты, нарочно ночью забирался в глухие углы сада, входил в пустой дом; вот когда я понял Ерошкино рыцарство.

Под лестницей, у моего изголовья, прорыто было мною тайное подземелье, ведущее в удивительные места. Три девочки, кроме старшей, бредили о тайных ходах моей пещеры. Ни смехом, ни ворчанием родители не были в силах разбить мою сказку.

Сказка плелась, ширилась. Старшая девочка нейдет в мое подземелье — я усиливаю атаку. Пишу главу первого и последнего в моей жизни романа. Начинался он так: «Однажды я сидел в моем кабинете, и вдруг ко мне, как буря, ворвался мой друг К. (читай Кузьма), со страшным решением…» Этот К. рассказывает автору захватывающую историю, происшедшую в закаспийских пустынях, с похищением очаровательной девушки Б. (старшую сестру звали Бодя) хищниками монголами (в романе «самоедами», а несколько строчек ниже они названы «людоедами»). Сверхъестественную отважность проявляет К. в битве, чтобы спасти девушку; раненный в сердце, он, тем не менее, спасает ее… Но она не любит героя, то есть автор не утверждает этого окончательно, вернее, он и сам не знает, любит или нет девушка героя, он только заявляет, что спасенная не бросилась ему на шею и не произнесла ни одной клятвы… К. разъярен и с мыслью, что все-таки Б. будет принадлежать ему, «холодно, с улыбкой безумия» кланяется девушке, садится на «дико оседланного верблюда» и мчится куда глаза глядят, чтобы осуществить свое «страшное решение».

Можно легко себе вообразить, как трепетали мои юные слушатели каждый раз, как приступали мы к чтению. Надменная Бодя некоторое время крепилась, чтобы не проявить интереса к написанному, хотя я знал — она расспрашивала сестер и брата о содержании романа. Наконец она выразила желание послушать. Чтение состоялось в виноградной беседке. Волнение мое было неописуемо, до испарины, когда я открыл тетрадку…

Мельком, во время чтения, взглядывая на Бодю, я видел, что оно ее интересует, но когда я кончил, девочка сказала, улыбаясь кичливо:

— Да и не полюбит такая красивая девушка этого К.

— Почему? — с сожалением воскликнули младшие.

— А потому… у него, кроме верблюда, пожалуй, и денег нет.

Толчок, данный мне семьей Полинских, не остановил меня на каком-нибудь определенном занятии.

У дяди Вани в кладовке попались мне горшки с масляной краской и пара кистей. Здесь же нашел я обрезок белой жести. Я написал на нем картину-пейзаж. Кисти были толстые, чтобы изобразить ими листья деревьев; тогда мне пришла мысль использовать притычку полустертой щетины, чтобы изобразить крону. По белым стволам, притыкая другой цвет, я изобразил стволы березок.

Бабушка Арина навещала меня иногда у Махаловых. Она обычно уводила меня в укромный уголок двора, чтобы наедине повидаться.

— Тяжело мне, внучек, видеть жизнь вашу подневольную, отродясь не служили Водкины… — морщась говорила бабушка, вынимая из-за пазухи пряник-парнушку.

На этот раз мы были под навесом кладовых, где стояла моя жестяная картинка.

— Это что такое? — сразу взяла прицел Арина Игнатьевна на пейзаж, еще не решив, нет ли тут подвоха какого. — Сам сделал? Так… — поджала губы и долго смотрела. Видно было, что жестянка ей нравится, но старуха не могла покуда вывести что-либо путевое из этого занятия. Потом сказала:

— Ну, вот и хорошо. Это как раз на могилу дедушки Федора. Вроде — как под деревьями лежать будет и о тебе ему память… Слова только пропиши.

Слов я не писал, а дощечка и без них утвердилась над дедушкиной могилой. На дожде, ветру и снеге скоро вылиняла моя жестянка. От пейзажа одна зеленая притычка осталась, да стволы березок, когда под мою первую живопись легла и сама бабушка Арина, и тогда я, не трогая оставшегося, написал внизу по жестянке: «Спи, милая бабушка».

Второй моей пробой по живописи было «Судно на Волге», где судно было изображено чистой охрой с прорисовкой досок и мачты, небо и вода синькой, а береговая зелень медянкой без разбела. Работа была сделана на негрунтованном картоне. Эта картина мне больше нравилась, чем первая, но окружающие ее приняли совсем равнодушно, кроме Васильича, который предсказал, что не иначе быть мне маляром… После этого неуспеха я увидел, что таким занятием Бодю не завоюешь, и оставил живопись до встречи с Суконцевым…

В школе я продолжал числиться на никаком счету по рисованию; я искренно ахал над головками и лошадками в изображении товарищей. Так продолжалось до вот этой описываемой встряски меня новым детским мирком. Однажды, на

каком-то уроке слушая изложение учителя, я новым кипарисовым, тонко очиненным карандашом стал чертить на чистом листе общей тетради. Это было впервые, что, распределяя штрихи на бумаге, я почувствовал, как чернящий материал меняет значение плоскости листа, как на этой плоскости возникают выходящие над бумагой явления и явления углублений, как бы дырявящие лист…

Голос учителя провалился в небытие. Вковыриваясь в бумагу и находя выражения рельефа и глубины, я забыл обо всем. Мне казалось, я первый открываю эту магию изобразительного искусства… Я горел в этом процессе, когда под острием моего карандаша как лепестки отрывались от бумаги иллюзорности, то подымаясь над тетрадью, то уходя вглубь, фактически же оставляя ее в одной плоскости. Какими жалкими вдруг встали в памяти головки, лошадки и домики славящихся рисованием учеников…

Я очнулся, когда надо мной услышал полный сарказма голос учителя:

— Забавляешься, дуро, сатано, — и Петр Антоныч ткнул пальцем в мой рисунок. В этот-то момент с ним и произошла перемена: он отдернул руку.

— А ну-ка, ну-ка, что это у тебя? — Он взял от меня тетрадь и начал рассматривать, отстраняя и приближая к глазам страницу, жмуря глаза. Наконец Петр Антоныч весело засмеялся, отошел к своей кафедре и, показывая рисунок классу, сказал:

— Вот, чтобы слушать уроки, чем занимаются некоторые. Затем, обращаясь к отдельным ученикам, стал спрашивать:

— Юркин, что сделал Водкин с тетрадью? Юркин — смешливый парень — фыркнул:

— Очень просто, — разорвал, да и только тетрадку, а она четыре копейки стоит.

— Так, так…

— А ты что скажешь, Сибиряков? — с довольной улыбкой на лице спрашивал дальше учитель.

— Страница надорвана посредине… — ответил мальчик. Серов заявил, что страница, очевидно, взрезана перочинным ножом.

Напуганный вначале резкостью Петра Антоныча, после перемены в его поведении я был вовлечен в происходящее не меньше товарищей, ибо теперь, смотря тетрадь на расстоянии, я и сам, даже знающий секрет, видел разорванную страницу и клочки разрывов, торчащие на зрителя. Изобразительная иллюзия была столь крепкой, что, когда учитель, после опроса, объявил, что «дыра» нарисована, класс засмеялся.

— Да это на ощупь видно, — вскричал Юркин. Юркин и потрогал первым страницу и с таким удовольствием захохотал, что Петр Антоныч заметил:

— Что же ты ржешь так, дуро?

— Да как же, Петр Антоныч, ведь одурачил же нас всех Водкин, — сквозь смех ответил Юркин…

Этот рисунок обошел школу и преподавателей и был оставлен в архиве школы. После такого выступления я был признан первым по рисованию и до выпуска нес собой это первенство.

С Вовой уже через месяц после встречи мы стали «братьями крови», то есть порезали себе руки и с клятвой о вечной дружбе в открытые ранки поменялись кровью один другого.

Вместе с этой дружбой разгоралось мое чувство к его сестре, надменной, но прекрасней Воде. Увлечение девочкой не мешало мне видеть весь не очень умный уклад мыслей в ее очаровательной головке, в особенности после ее замечания о безденежье героя моего романа. Да и Вова иногда говорил мне:

— Дура эта Бодька, пыжится, как гусыня какая… Чего ты ее любишь?

Второе чувство некоторой зависти говорило во мне: у Вовы есть сестра, а у меня нет. Ах, если бы у меня была сестра, какой бы идеал девушки она собой представляла! И, чтобы развенчать Бодю, чтобы окончательно привязать к себе Вову, я открыл себе и другу скрываемую дотоле Лео-нию — мою родную сестру.

Лет двадцать спустя Вова, сбитый с жизненного толка, но «шикарный до смертного часа», будучи у меня, сказал не с сожалением, не с укором, а просто устанавливая факт:

— Знаешь, дорогой друг, если бы не история с твоей сестрой, моя жизнь построилась бы иначе, — и заранее перебивая меня:

— Не возражай… Еще Пушкин сказал: «Над вымыслом слезами обольюсь…» Благодаря Леонии я пропустил все мои годы. Я был как на постоялом дворе — проездом: все там, где-то около, но не там, где я был, я встречу, я найду ее… Вот видишь, я уже расстроился, но понимаешь, Леония дала мне меру требовательности… А кстати, позволь мне рассказать эту историю — ты уже, наверно, забыл ее.

Мы были одни у меня в мастерской. Самовар заглох, но коньяк, любимый напиток Вовы, искрился червонным золотом. Спешить было некуда — Вова ночевал у меня. После хорошего дня работы над картиной я был благодушен. «Шикарный до смертного часа» умилил меня напоминанием нашего детства.

— Прошу, пане, — сказал я. Уселся удобнее и закурил трубку. Вова выпил залпом рюмку, звякнул шпорами и начал.

С первых же слов — как бы тюлевые занавесы театральных чистых перемен начали подыматься друг за другом, засерело, засветилось, показались силуэты предметов, и открылся пейзаж. Стог сена в саду, залитый осенним солнцем. Багряные клены свисали листвой. Время от времени падали листья: тихо, не спеша сойти в могилу, отделится от ветки, распластается и, колыша краями, опустится на черную землю кленовый лапчатый лист…

Я не буду приводить рассказ Вовы, в нем было слишком много горячности и безумной любви к призраку-девушке, даже тени которой ему не удалось видеть. Но он мне так ярко осветил прошедшее, с деталями, о которых я уже забыл, что это мое воспоминание я и попытаюсь изложить возможно кратко.

Мы лежим на стогу. Я чувствую грустное одиночество, я устал, чтобы хранить мою тайну.

— Вова, ты друг мой? — говорю я. Вова завозился на сене.

— Можешь ли ты меня спрашивать, когда наш кровавый союз тому порукой?

— Верю, — говорю я, — но я должен тебе поведать мою тайну и должен предупредить тебя, что эту тайну не многие знают, а враги, окружающие меня и мою сестру…

— У тебя есть сестра?… Кузьма, угрозами смерти никому не вырвать от меня тайны…

— Верю, Вова, ты мой единственный верный друг… — сжимая руку Вовы, сказал я. — Да. У меня есть сестра… Но я так волнуюсь, когда думаю о моей дорогой Леонии…

— Леония? — восторженно воскликнул мой друг. Во-первых, ты должен знать, что я не тот, за кого ты меня считаешь, — я только укрыт, усыновлен в Хлыновске…

Моя родина далеко отсюда… Страшное, кровавое событие на пороге моего младенчества перевернуло мою жизнь и жизнь прекрасной Леонии…

— Леония прекрасна? — вскипел Вова.

— Ах, Вова, если бы ты знал, какая она! От красоты Леонии и начались ее несчастья… Наши пути были различны, и только теперь они сходятся. Я должен был тебе поведать об этом, так как возможно, что потребуется твоя помощь…

Как выясняется в дальнейшем, обстоятельства дела были таковы. Была буря. Ветер срывал лесные вершины, свистел и резвился ими, как соломинками… Крошечные тогда дети, я и Леония, вышли погулять и попали на гнездо разбойников. Девочку передали разбойнице — жене атамана, а меня сунули в лодку вместо постели и бросили без присмотра.

Буря сорвала с причала лодку, и ее понесло волнами. Много,

много дней швыряла Волга младенца, покуда не принесло лодку в Хлыновск и не застопорило между плетнями у келеек. Тут и нашел меня мой теперешний отец и принес к жене. Они меня усыновили и выдали за своего…

С девочкой было сложнее: у разбойников она была перекрадена кабардинцами. Воспитывалась в Дарьяльском ущелье и, когда подросла, — еще раз была украдена… проезжим цирком, где и стала знаменитой наездницей… И вот в этом цирке она встречается со старым разбойником, который рассказал ей о моей судьбе в несчастном городишке… Леония решила спасти меня и себя и бежать в Америку, в амазонские прерии, где уже заготовлен для нас вигвам, то есть дикий замок… Теперь Леония тайно скрывается здесь… Трудность положения усугубляется тем, что при Леонии находятся три арабских коня, которые очень мешают сохранению инкогнито в такой дыре, как Хлыновск…

Развертывание истории продолжалось изо дня в день, с тончайшими деталями вырисовывался образ поразительной девушки: нежной, отважной, прекрасной. Леония иногда передавала привет Вове, потом оценила моего друга, и уже в ее сердце, кажется, появился уголок для Вовы… — Это не то, что твоя Бодя, — с грустным упреком сказал я ему.

— Кузьма, — взволнованно, моляще произнес мой друг. — Как ты можешь рядом с Леонией говорить о дурище Бодьке?!

Вова и я — мы знали каждый час жизни Леонии. Одно время она была простужена, и мы сидели без новостей.

Задержка бегства происходила по разным причинам. Одна из них — невыясненность маршрута по направлению в Америку. По карте можно было растеряться от количества путей, выбор большой, но ведь надо было сговориться с пароходом, который нас будет ожидать для переправы через океан. Ехать через Европу на арабских лошадях — просто стыдно; Владивосток далеко, и наконец-то, после долгих советов и обдумываний, остановились мы на Аравийском полуострове. Об этом решении Леония сообщила капитану парохода… Была и еще причина: ведь с момента бегства что-то должно рухнуть, может быть, все должно рухнуть — с такой любовью и прилежанием созданное просто сделается выдумкой, а я за это время привык иметь сестру, уже ставшую мне необходимой. Да и Вова был слишком взбудоражен, чтобы можно было сразу оборвать сказку… Оценивая и мучась над данными вопросами, я чувствовал приближение развязки и ее неизбежность… Как далеко зайдет осуществление бегства? Что станет с Леонией? Долго ли она может существовать, невидимая для всех?

В один из дней, когда небо было покрыто низкими, серыми

тучами, решение состоялось. Надо было быть готовым к бегству. Сестра могла в любой момент сообщить час и место для нашего отправления. Надо было спешно и основательно приготовиться. Правда, приготовления наши состояли в немногом: нужны были спички, револьвер, нож и веревка (веревка — это для арканов, при ловле зубров, населявших прерии, и для подъема через стены и башни). Мое волнение возрастало — развязка близилась, Я в самых мрачных красках обрисовал Вове ужасы предстоящего пути: безводные пустыни Персии; тигры и леопарды в Аравии, сжирающие в один прием путника, а главное — враги, сотни глаз которых следят за каждым нашим движением, пытки и злая смерть, если мы попадем в их руки, будут неминуемы. Мальчуган не сдавался; даже когда я прибег к обрисовке разлуки Вовы с его родителями, изобразил их слезы и отчаяние, Вова сказал:

— Нет!.. Ты послушай мое сердце, — он подставил мне правую сторону груди. — Оно скажет тебе, как я готов исполнить все, что прикажет Леония…

Наши вещи были приготовлены: пятизарядный револьвер с одной пулей из шкафа судьи, веревка с чердака, сломанный, но годный для дороги кухонный нож из кладовки дяди Вани и, самый сложный багаж, — пятнадцать коробков фосфорных спичек — все это было сложено заранее в садовом гроте под соломой. Наша неопытность мальчиков, впервые организующих бегство, не подсказала нам о необходимости запастись съедобным, — о чем мы в дальнейшем сожалели…

На завтра, в ночь с субботы на воскресенье, Леония назначила отъезд.

Легко понять, как я провел пятничный школьный день. Петр Антоныч даже лоб мой потрогал, чтобы убедиться, нет ли у меня жару, и уже после этого взмолился:

— Дуро, сатано, куда же ты мозги подевал? Квадратный корень из шестидесяти четырех, — ну?

Мне было не до этого… Может быть, нас поймают, вернут — и все кончится. Ведь Михалыч всюду караулит — наткнется на нас… Наутро порка… Тайну нашу мы не выдадим. Леония останется живой. Вечер субботы, вспоминаю сейчас, был хмурый, ветреный. Темная осенняя предстояла ночь. Когда все уснут во флигеле, я должен буду помочь Вове выбраться из окна его комнаты, которое было довольно высоко от земли…

Тьма была кромешная, когда я прокрался к стене флигеля, выходящей в сад. Зная наизусть все тропы и дорожки сада, я все-таки то и дело натыкался на стволы деревьев, на клумбы, наконец влез в кусты малины, которых никак не предполагал в этом месте, покуда не уперся в стену флигеля. Рассчитав, что нахожусь под

окном Вовы, бросаю камешек, чтобы произвести условный стук о подоконник. Окно почти сейчас же открывается, и в нем мерещится что-то белое и голос панны Павлины, гувернантки:

— Матка Боска, какой ужасный ветер…

Окно снова закрывается, а я стою притаившись, распятым к стене. Наконец из соседнего окна послышался шепот Вовы, и неподалеку от меня шлепнулся о землю сверток его одежды.

Я подставил плечи для спускающегося друга, и Вова спрыгнул ко мне в сад…

Мы пошли держась за руки. Предшествующее волнение меня оставило, с каждым шагом я становился хладнокровнее и острее заботился, как бы не выдать себя и Вову. Подходящих к гроту нас обеспокоил лай собаки. По звуку было заметно, что она направлялась в нашу сторону, и, конечно, это была Змейка. В кустах сирени раздался хруст ветвей от собачьего скока, и тотчас же Змейка задышала возле меня, тыча мордой в мои ноги. Она ласкалась, скулила от радости, что встретила своих и что обошлось без драки, и благодарила за ночное развлечение. Я не мог отослать ее прочь, на все мои толчки Змейка отвечала ползаньем у моих ног и тихим визгом. Наконец, к нашему благополучию, послышался далекий призывный свист Михалыча, и собака моментально исчезла.

Взяли вещи из грота; поделили; револьвер Вова положил себе в карман.

В этом уединенном углу сада, куда привел я приятеля, находились бассейн с водой и запасные ворота. Во времена распределения воды хлыновские воротилы, получая себе домашний водопровод, обязывались во время несчастного случая обслуживать водой близлежащие кварталы, имея такой противопожарный водоем. Здесь легко можно было взобраться на забор, становясь на обручины бассейна, а по ту сторону этого забора должна была находиться Леония с лошадьми.

Наверх поднялся я первый и наклонился во тьму. На улице была полная тишина; ни сестры, ни лошадей не было… Может быть, Леония немного запоздала, так как мы действовали без часов.

— Что? — шепотом спрашивает снизу Вова.

— Лезь сюда, — отвечаю ему.

Я слышу — Вова поднялся на бассейн, и в это же время вода в бассейне булькнула от падения в нее какого-то предмета. Следом последовало проклятие моего друга.

— Пистолет из кармана выскочил, — сообщил он с некоторым смущением: — Извини за неуклюжесть, но, дьявол с ним, — у него была только одна пуля…

— Леонии нет, — не без трагичности сообщил я.

Молчание Вовы было выразительным ответом… У меня созревало решение.

— Что же это значит? — опомнился, наконец, мой друг. Я уже знал продолжение.

— Что-то случилось, — говорю я, — держи веревку. Я пойду и постараюсь разузнать причину.

Я оставил Вову на заборе, а сам спрыгнул вниз на улицу и пошел за угол. Прошел целый порядок до дома Аввакумова, где жила Леония под страшным секретом и ее лошади. Дом этот со всегда закрытыми ставнями со дня появления сестры в Хлыновске предназначался для нее. Помню, какой романтикой настроенные проходили мы мимо этого каменного пузатого одноэтажного домика, рисуя каждый по своему представлению самую лучшую девушку на свете за его стенами.

По Дворянской улице послышался топот скачущих лошадей. О, взбаламученная фантазия, — я растерялся! Оживленный призрак Леонии мчался ко мне. Уже зафыркал один из коней арабских. Уже обозначился силуэт всадницы…

Я едва успел отскочить к палисаднику, как мимо меня вдоль тротуара пронесся Верейский, пристав, на своей светлой кубанке, с волочащимся арапником по ее спине, сопровождаемый десятником… «Черт-чертом», как его звали хлыновцы, совершал облет вверенного ему городка, охраняя порядок и сладкий сон граждан.

Подобный всамделишный, героический галоп отрезвил меня; уже хорошо и то, — подумалось мне, — что не сцапал меня пристав. Растягивая время, я пошел кругом квартала к ожидающему меня Вове.

Вова сидел на том же месте. Я поднялся к нему. Молча присел рядом.

— Ну? — не выдержал Вова.

Я вздохнул. Сделал еще паузу и только после этого сказал:

— Лошади взбесились, сбросили Леонию и умчались за город…

— Так это их топот я слышал с Дворянской улицы? — воскликнул он.

— Вот, вот… О, как я попал вовремя, чтобы спасти сестру…

— Леония не пострадала?

— Пустяки, небольшая ссадина на ноге… Я наложил ей бинт, и она успокоилась… Когда я уходил, спросила о тебе.

Вова заерзал на заборе.

— Как я рад, что Леония в безопасности. Ах, если бы ты знал, — и он ударил себя в грудь, не в силах излить себя словами.

Я был радостен и спокоен. Леония, моя сестра, осталась с нами. И вот тут в этот момент мне захотелось есть до боли под ложечкой, мне было неудобно сказать об этом, но Вова меня предупредил.

— Идиоты все-таки мы с тобой: собрались в дорогу и даже куска хлеба не захватили.

Я согласился.

На этом бы и можно кончить историю о нашем побеге. Вову через то же окно водворил я в его комнату, — спички, веревку и нож спрятали мы под бассейн, — а сам пошел в мою подлестницу очень уставший, но спокойный. Мать поворчала на меня за мою ночную отлучку, но я нее заслушался осеннего ветра и заснул от его песен на лавочке у ворот…

Что же касается до очаровательнейшей из девушек тех времен, из сестер всех сестер, она незаметно покинула нас: из-за болезни ноги (пустяшная царапина разболелась) она уехала в губернский город для лечения. Дальше — очень сложные и тайные происки врагов готовы были открыть ее присутствие, чтобы снова, как в детстве, украсть ее. Леония принуждена была очень основательно, даже и для меня, скрыться до поры до времени в полную неизвестность…

Все это прошло, сделало свое дело, сложилось где-то в запасном уголке черепа и забылось. Новые выдумки и растущий реализм невероятной волной фантазии разворачивали для меня мои органические перспективы, но креп мой аппарат… Бывало, как галчонка в бурю на вершине ветлы, трепало меня натуралистическое окружение, — не было, казалось, дела до всего прошлого. Я забыл даже имя сестры моей, и если бы не упомянутая выше встреча с Вовой, — может быть, эта глава и не была бы написана.

«Шикарный до смертного часа» кончил рассказ и налил себе последнюю рюмку коньяку.

— Да, Кузьма, моя жизнь могла бы стать иной, если бы ты не дал мне нерешаемую задачу, хотя всего только с одной неизвестной… Я не виню тебя за это, ей-Богу, не виню… Моей жизнью я доволен… Моя утлая ладья промчалась весело океаном дней моих в исканиях Леонии.

«Боже, — подумал я, — ведь он говорит языком нашего детства, неужели он не сумел перерасти моей выдумки и это наивное произведение искусства подчинило его на всю жизнь?»

«Шикарный до смертного часа» продолжал говорить, как он в самых неопрятных житейских уголках искал Леонию, сестру мою, что ему иной раз хотелось убить себя, чтобы прийти скорее на тот свет, где, как рассказывают ксендзы, все враки делаются

правдой… Я в половину говоренного не вслушивался — так мой давнишний друг не был Орфеем в его исканиях. «Как очужел он для меня», — думал я…

Вова, как назло, засучил рукав рубашки и сказал:

— А ведь до сей поры видно.

Правда, на мускульной холеной руке, пониже сгиба, была довольно заметная буква К… На моей руке я не нашел ни следа от нашего кровавого братства.

Кого же, в сущности, больше любил Вова — меня или Леонию, сестру мою?…

В это время раздался звонок в передней — два раза, условный звонок жены. Она возвращалась из гостей…

Глава девятнадцатая
ВОЛГА

В этот год Волга наливалась на глазах, на ощупь. Берегами стоял иловый запах от свежесмоченной земли. Затоплялись прибрежные огороды, бани. Плетни, с кольями, сорванными водой, плавали плашмя, привязывали их хозяева к стволам деревьев. Вспученной мутной гладью неслись коряги, дрова, рухлядь всякая. Вооруженные баграми охотились хлыновцы за текучей добычей.

Сувоти бурлят островами между затопленным осокорем. Дрожат, трепещут вершины ветельника, а листья, как бабочки, бьются о накипь воды. Лодка юлит, отбивается от правежа, так и норовит наскочить серединой о ствол. Держи лодку, не зевай в это время, иначе сам знаешь, что с ней случится.

На острове остались одни лысины незатопленных мест с разнеженными влагой травой и цветами. Хорошо на этих лысинах, которые завтра скроются. Аромат свежей листвы, журчание воды, облизывающей с напором островок. Ни комаров, ни мошек в это время. Дымит костерок, трещит валежник, на перекладине закипает чайник.

Не надышался и не ушел бы оттуда! Лежишь сфинксом, облокотясь на передние лапы, отупело смотришь на кипящую воду, и кажется, что это не вода течет, а ты мчишься пустынями воды и неба…

В Хлыновске праздник, — по всем сердцам Волга разливается; гудит пароходами. В Хлыновске свежие товары, еда новая, вести сверху и снизу в каких местах и как зиму коротали, велики ли где снега были. Дети, отцы с отхожих зимовок возвращаются. Трещит от новостей и обновок каждый домишко. Пахнет воблой копченой, жирной, прозрачной на свет, как яйцо свежее.

Хорошо в Хлыновске!

Вода подымается. Затопило нижний базар. Хотя подъем и показывает количество зимней влаги, но не в высокой воде польза. Это нам, ребятам, забава с банных крыш в Волгу нырять, — польза в продолжительности половодья. Бывает подъем четыре-пять сажен, самый незначительный, а вода весь июнь держится, до меры не спадает.

Стариков не удивить ни большой, ни малой водой.

— Нет, не та Волга стала, — скажет старик и бородой затрясет, — бывало-те обмеленьев не знали: воды завсегда было

сколько душеньке угодно… А все потому — порядков нет. Жадность обуяла, леса народом, что-те скот волками, пожираются. Вон он, Кузьмодемьянск этот, — что в нем лесу было… А ноне?

Рыбу, помню, поймали хлыновские рыбаки — мерой в сажень с лишком. Два дня эта рыбища мужиков мучила, Волгой колесила, чуть лодки не потопила. Что это была за рыба — сом или белуга, — не помню, но рыбу вскрывали в присутствии врача и властей, чтоб узнать, нет ли в рыбе человечины. Народом берег усыпан — все на рыбу пришли любоваться, говорили, что рыбак на весь год дохода получит с такой небывальщины.

А старик затряс бородой и клюкой застучал.

— Эх, ребятушки, така ли в мое время рыба была! Бывало-те Волгой осетр хвостом взметнет, так судно кверху дном переворачивало… А скус-то был! Э, ну и скус… А потому — погани нефтяной теперича напустили да колесами глушат машинными рыбу-то…

При спаде воды бывает момент, когда оголятся острова, образуются озера, озерца, ямы. Едут тогда хлыновцы с бреднями, с мешками, с ведрами рыбу брать. Мы, малыши, штанами, рубашками упражняемся и голыми руками рыбу берем. Идешь таким озером в тинной, парной воде, а рыба бьет в ноги, в живот и плещется наружу. Серебром чешуйным нагрузятся лодки. И думать не придумаешь сразу, что с рыбой делать: иль сушить, иль солить, или в копоти затомить. На дворах, на бечевках на солнце сушатся густера, язишки, чехонь, а зимой этот корм у нас лакомство. Сушеная рыба с просолом, ломкая, икусная. На улицу, бывало, идешь, она в кармане крошеная, в рот бросаешь, что тебе тыквенные каленые семечки.

От сушки и солки вонь в городе в течение нескольких дней стоит крепкая, как на промыслах, только перепутается эта вонь с запахом оцветающих садов, и не понять проезжему — чем Хлыновск пахнет.

Зимой Волга спит. Разве где на быстряке черная незамерзающая полынья напомнит о скрытой подо льдом жизни… Тогда все большаки на Волгу переходят, и в длину и поперек разрисуют дороги навозными знаками ледяную толщу. Просыпается Волга рано. Уже в средине поста нам втолковывалось не прозевать первую подвижку льда.

Трудно словом определить этот звук: не то стон какой, не то колокол гуднет где-то под землей и разнесется над Волгой и эхом отразится от гор. По первой подвижке идут расчеты о вскрытии Волги. За Волгой устанавливается наблюдение: считается счастливым увидеть начало вскрытия. Ледяной покров, вздутый,

рыже-синий, еще неподвижен, только от берегов видны проталы, да несколько промоин на месте заворота Коренной.

Лед начинает двигаться раньше, чем это заметит наблюдающий, — так медленно перемещаются его пласты. Окажется перекошенной дорога в Липовку, унавоженное лошадьми место мойни очутится за базаром. Не хватает только ветра, чтоб напором воды порвало ледяные сцепы.

Наконец, раздастся от берега до берега хруст, словно огромным колесом по фарфору проедут, и масса льда дрогнет. Последуют новые звуки цокания ледяных кристалликов, ширк и шип обсыпающихся ледяшек. Полезут друг на друга льдины, надламываясь кусками мягко, как постный сахар, зазвенят сосульками, закружатся на заторах. Вода в прорезах льда темная, сгустившаяся за зиму. Погода переменится: подует с севера, подует сквозняк от Белоозера до Каспия. Волга тронулась.

Лед идет разный. Нежно-синеватый, бурый от городов, темный с Камы. На льдинах застревает всякая всячина, вплоть до скота… Тает, редеет, проходит лед, из-под него распластается Волга всеми оттенками почвенных растворов, синевой неба и его тучами.

Зачиркают водой лодки. Задудит петушком перевоз «Колумб», слетает хвастливо в Протопоповку и обратно, потом запрягут «Колумба» конторки пароходные переводить по местам, и только мало-мальски приготовится Хлыновск, чтоб гостей встречать, как загудит первый «Кавказ и Меркурий» снизу.

Волга заработала.

Заставится ларьками берег. Парочки молодежи разместятся по укромным лавочкам волжского бульвара, и аккуратно у буфета пароходного каждый вечер Петр Антоныч будет пить кристальную, из-под «белой головки», Смирновскую и закусывать икоркой. Утром в классе для общего назидания, в особом тоне зазвучит «дуро, сатано» — и мы знаем: после «белой головки» проигрался Петр Антоныч в карты в клубе. Но уже никого не страшит этот лозунг оскорбления нашей чести: скоро конец занятиям — уже вывешено расписание экзаменов.

Весна в разгаре.

Пусть меня обвиняют в квасном, географическом патриотизме, но, чтобы остаться правдивым до конца, я должен не только сказать, но воскликнуть: «Только на Волге, только в Хлыновске бывают такие весны». Весны, когда дышишь, купаешься воздухом сквозь всякие стены и запоры, сядь хоть в подвал винного склада Солдаткина, закрой двери и ставни — и там пары алкоголя не в силах унять неуемные ароматы весны…

Поднялись зеленя. Засели яблоки. Ростками, тычинками

распушились огородные гряды, появилась завязь.

На Волге показалась первая отмель песку. Дрогнула весна, опалился краешек ее летом.

Не до ученья. В голове Волга, в ушах плеск ее теплых, набегающих на. берег валов. Теплота и прохлада, обнимающая тело, а в натуре — я перед столом или стол передо мной. Покрыт стол зеленым сукном, и за столом лица так онезнакомившихся мне учителей… Невинно, одинаковые лежат билетики, скрывающие в себе предательство и провал.

— Десятый билет «о цвете»… десятый билет. Ну же, десятый, — почти вслух шепчу я. О цвете я знаю хорошо, но, попадись окаянное электричество, и — зарежусь. Пытаюсь на всякий случай припомнить что-нибудь о нем.

— Электричество есть энергия, которая… которая… гроза, например, атмосферическое электричество… Нет, уже лучше все силы на десятый номер сохранить. Сейчас Серов отвечал по восьмому, билет взял справа, значит, и мой где-нибудь рядом, тоже справа.

В висках стучит. Делаю движение и, как в лотерее, схватываю билетик со стола: десятый. Меня от радости в пот бросает.

Передаю билет учителю, не читая, тот оглашает громко:

— Десятый — «о звуке»…

Из теплого я перепотел в холодный пот: несчастный, я перепутал содержание билетов.

— Расскажи, что ты знаешь о звуке, — мягко обратился ко мне незнакомый экзаменатор.

Мечтая вытянуть билет о цвете, я хотел блеснуть; о звуке же я знал средне, запутался на числах его колебания, но тем не менее предмет сдал на «хорошо». Физика была последним экзаменом.

На торжественном акте я получил похвальный лист и, свернув его в трубку, направился к бабушке в келейку, чтоб похвастаться, а бабушка Федосья умела хорошо умиляться над успехами внука.

Пошел я берегом, чтоб выкупаться по пути. Ко мне в дороге присоединились еще трое малафеевских мальчиков.

Против Захаровых была показавшаяся отмель песку. Здесь мы и вздумали купаться, с решением переплыть на островок.

Плавал я в то время плохо, бессистемно, как вообще плавают волжане: с большой мускульной затратой и с малыми результатами… «Саженка», излюбленная здесь манера, была самой быстроходной, но и самой утомительной, искусство пловца сводилось, в конце концов, только к его силе, к легкости веса при большом объеме тела, а не было рассчитанной, мерной борьбой с засасывающей водяной массой.

Плавать «по-собачьи» я начал рано, но боялся глубины и долго царапался животом по дну. Мне было, вероятно, лет семь с чем-то, когда ребятишки постарше столкнули меня с мостков в глубину. Готовый тонуть, я закричал что было мочи, забрыкал руками и ногами и совершенно неожиданно для себя поплыл, уяснив этим самым на всю жизнь уменье держаться на воде, незабываемое, как хождение на двух ногах. К этому времени, то есть ко времени возвращения из школы с похвальным листом, у меня уже был порядочный навык в обращении с Волгой, так мне, по крайней мере, казалось тогда.

Песчаная отмель отстояла не дальше полуверсты от берега. Кроме нас, четверых мальчиков, кругом никого не было. Разделся я, уложил штаны и рубашку; аккуратно поместил на них сверток и следом за другими бросился в воду. Дно было вязкое. Быстро минуя его, выплыл я на стрежень. Двое из мальчиков плыли очень грузно, «по-бабьи», и скоро они повернули обратно к берегу. Третий казался хорошо плавающим, но и он, будучи саженях в двух впереди меня, неожиданно и круто повернул обратно, и мы с ним разминовались. Доплыв до места поворота товарища, я очутился во взбудораженном течении, вода выбивала снизу, как над омутом, и крутила меня. Только соревнование на первенство и ребячье самолюбие двинули меня дальше к узкой полоске с горизонта воды видимой отмели. Она казалась обманчиво близкой и, как песчаное отложение, должна была быть очень отлогой и тянущейся ко мне навстречу.

Самое губительное на воде, вдали от берега — это подумать об усталости. С этой мыслью явится и сама усталость, тогда сейчас же заломят мускулы, начнут деревенеть руки. Цель окажется невероятно далекой. Перестанут увещевать сознание уже сделанные тобой четыре пятых пути, что возвращения без передышки не осилить… Начнется утомительнейшее для уставшего пловца опускание вниз в поисках ногами дна. Вода становится врагом: она теряет плотность, расступается от малейшего мускульного движения, не обо что упереться плывущему в такой воде.

Когда я повернул обратно, у меня уже не хватало дыхания от усталости. Руки падали плетьми, не в силах оттолкнуть массу воды и двинуть вперед мое тело.

Берег был далеко; как во сне, далеко были на берегу товарищи… Хочется отдохнуть. Тянет в себя расступающаяся вода… В первый раз отдаюсь ей, опускаюсь, сглотнул воды.

Вынырнул к небу через всю мою силу и понял, и закричал, как мог: «Тону, спасите».

Борьба кончилась… Мягкая, теплая Волга засластила мой

рот. Я не противлюсь Волге… В мозгу острая мысль о матери, а следом за этой, волнующей, при погружении ко дну, вторая, молниеносная:

— Так просто… Ни болезненных ощущений, ни страха — одно молниеносное, утешительное о простоте больших органических событий…

Бывает глубокий сон. Впадая в него, как бы проваливаешься. А еще похоже, будто окутываешься шубами, одеялами и там где-то в завертке этой делаешься тоненьким, как стебелек, и потом исчезаешь совсем. Сновидений не бывает в таком забытьи — плотно тогда, непроницаемо и темно во всех уголках черепа.

Пробуждение от подобных снов также бывает особенным. Откуда-то из глубины начинаешь выкорчевываться наружу. Состояние полусознательное, безмятежное, как будто в вате похоронен, глухо в ней, вылезти из нее трудно, она мнется и не дает опоры рукам… Но мне не хочется вылезать, тем более до меня доносятся издали звуки человеческих голосов, и от этого мне еще спокойнее.

Прорыв сознания — и голоса уже здесь, рядом. Я различаю их. Грубый мужской голос лаймя лает и разносит кого-то. Голос простой, земной голос, — таких во сне не бывает, а в ругани мне слышатся ноты сердечного трепета.

Уже доносятся отдельные слова и складываются для меня в понятия: голос грубит обо мне: — Чертенята, купаются во всех дырах, так разэтак…

Отличаю второй голос, более молодой:

— Дышит, Ильюха, дышит…

— Знаю… — отвечает мужик.

Меня укачивает, но мне легко, насквозь дышится. Я чувствую улыбку на своем лице от удовольствия, которое испытывает все мое тело, вытянутое в длину с полным отдыхом. С трудом, лениво открываю глаза. Синее до темно-синего надо мной небо. Полная земная безопасность, как в младенчестве на коленях матери. Ни шевелиться и ничего знать не хочется.

Грубый голос, родной, как голос моего отца:

— Слава те Иисусу Христу! Очухался паренек. Эх, ты, тебя бы этак больше и на свете не было… А родителям бы каково… а?

В голосе сплошная ласка меня возвращенного к жизни.

Я на дне лодки-легошки. Бородатый мужик поддерживает мою голову и обращается к молодому парню за кормовиком:

— Видишь, Панька, а ты все на берег да на берег. Утопленника, брат, никогда не касай земли. — Потом ко мне:

— А ты, херок, слава те Господи, жив, так погоди больно с водой баловать. Научись сначала по-моему пловцом быть.

Панюха, держи на берег…

Хороша радость возвращения из смерти! Ясность и торжественность. Все окружающее полно важности… Вот на борту легошки муха чистит крылья — какая точная нужность движений ее лапок, какая озабоченность всего ее аппарата!.. Журчит из-под носа лодки вода. Мужик смотрит в сторону. Ветер колышет черную бороду. Мне видна жилистая, плотная, как медь, загорелая шея и красная щека. В скобку волосы, еще не просохшие и прилипшие к затылку. Мокрые рубаха и подштанники облегают мощное тело моего спасителя… Знаю, он сейчас думает обо мне.

Родня он мне сейчас какой-то, да уже верно и я ему.

— А ты чей будешь? — обращается он ко мне. Я отвечаю…

— Сергея, что ли?… Так. Это что на Пантелеевой дочери женат?… Суседи наши, Захаров я, Ильюха Захаров, сынок Федосея Парфеныча… Как же, как же, вот-те и оказия, братеня, вышла, ведь мой тятенька твоего отца кольями от смерти спас, а мне довелось тебя выручить. Слышишь, Па-нюха, дело-то какое.

Белесый парень, правящий лодкой, заулыбался, словно утешая и поздравляя меня.

— Да уж видать планида такая, чтоб живу быть!

— Илья Федосеич, а помнишь, намедни от перевоза хотели пешком домой драть, — вот бы…

Все стало значительным после моего пробуждения; все стало обновленным и свежим. Как-то по-особенному прочистился пережитием смерти аппарат мой.

Перед убылью Волга задумается, остановится на месте на несколько дней вода, а потом начнет сбывать. Первые дни сбывает осторожно, словно народ жалеет, а потом: не успеешь оглянуться, а уже песок версты на две отодвинул к востоку Воложку и отбросил от города фарватер. Остров уже не остров, с наезженными сенокосом дорогами, что твой материк. На нем рощи, лужки, долины и холмики, птицы лесные поют, ежевики-ягоды на нем не обобраться, и только на стволах деревьев, как геологическая справка, желтеют иловые отметины подъема воды да Волга, не желающая окончательно подарить остров земле, режет его глубокими протоками, которыми Коренная перекликается с Воложкой.

Грустно и невыгодно хлыновцу от обмеления Волги. Пароходы в десяток верст крюк делают, чтоб пристать к городу. Начинаются опоздания, подъемы грузовых цен, а вот закапризничает капитан «Суворова», потребует перевода пристани на пески, за ним потянутся и другие — дохло сделается на волжском бульваре, замрет весь этот берег, да и вся базарная

часть только местным оборотом и будет пробавляться.

Извоз через пески трудный, извозчики чертями делаются, облают тебя, пассажира, насквозь, подымая цену.

А к этому как раз времени и поспевает главный наш товар — яблоки. А наши яблоки — это не какая-нибудь антоновка тамбовская, ту хоть кирпичом колоти, хуже не будет, — наш фрукт нежный: анис, например, бархатный, ему уход да уход требуется, а ну-ка потряси их от садов да на пески, так потом на Щукином рынке браку не оберешься.

В сады к поспеву яблочному слетаются съемщики и сверху и снизу. Рыщут садами, что коршун метнет такой из них глазом на яблоньку и сразу: шестьдесят пудов, а эта яблонька словно мать обвесилась урожайностью, сучки на ней трещат от умиления… Коршуну хоть бы что, он уже дальше прикидывает пуды, сбивает цены.

Наметка у этих прасолов что на весах, уж хлыновский садовод остроглазый, но съемщик, обежавший сад, на пятьдесят пудов не ошибется при тысячном урожае.

Откуда-то появляются воза, горы лубочных коробов, город запрудится ими. В голове не прикинешь, сколько же лесов ободрали на эти короба. Короба разместятся по садам, а потом и днями и ночами потянутся обратно через город на пристани.

В садах песни молодежи, снимающей яблоки, корзинами несущей их к шалашам-навесам и сортами складывающей их в кучи и горы.

Столичные сорта берутся прямо с дерева и тут же, переложенные соломой, а некоторые — папиросной бумагой, укладываются в короба.

В это время все запахи стираются одними: идите в горы, поезжайте на остров, — всюду не покидает вас аромат сотен тысяч пудов перевозимых, переносимых, укрывших обе наши базарные площади, яблок. Люди не садовых мест не знают этого запаха в такой мере, потому что яблоко, хоть на час попавшее в подвал или погреб, теряет этот девственный запах, равно и вкус, и плотность, свойственные фрукту, не расставшемуся с воздухом. На этом ведь и основаны местные курсы лечения фруктами, хранящими в себе полностью запасы солнца и воздуха данной страны.

Яблочный запах загуляет по всей Волге до низов и верховий. Он проникает в клетушки вагонов, борется там с гарью угля и нефти.

Закопченный, облитый потом машинист высунется по пояс из своей кочегарки и распустит ноздри.

— Эх, Ванюша, хорошо как яблоками пахнет, — скажет

паркишке-помощнику, протирающему колеса, и тот черномазый нос повернет к товарным вагонам и задышит.

Вот так Хлыновск! Вот так анис бархатный!

Август — это во всех ртах яблоки. Коровы, свиньи и птица домашняя жуют и клюют яблоки.

Волгой плывут они, пестрят и блестят зеленцой и красным. Ершозские яблоки — мельче наших. Видать, лодку или дощаник опрокинуло.

От убыли на Волге тошно делается. В местах, где, бывало, играли свежие струи, ныне вязкое дно, пахнет тиной и ленивая уснувшая гуща воды там,… И только фарватер Коренной сверлит и сучит песок и берега, работает добросовестно, стараясь за всю обезвоженную ширь.

Участятся маяки и баканы. Без конца тревожные свистки пароходов… — Се-емь, се-емь. Шесть с половиной… — угрожающе выкрикивает наметчик. — Стоп, — команда в машину. Зацарапает днищем… — Право руля… — команда боцману. Заворачивается пароход в поисках глубины… Крик в рупор: — Черти! Где, сволочи, бакан поставили?!

И так, покуда не послышится с наметки: «табак», только после этого утешения заработает снова машина и двинется вперед пароход.

— Пронесло, слава те, Господи, — радостно забормочут на нижней палубе, — не то объешься харчами весь, поколь до Астрахани доедешь.

— Знамо, — ответят ему, — а то у Синбирска почитай две сутки на песке сидели… Да.

Так подкатывает осень. Серое небо; серая Волга. Воронье тучами летит с полей на ночевку на остров. Холодная вода обезлюженной, с пустыми берегами Волги. Через Федоровский Бугор задует неделями ветер, лысит и сгоняет воду. Ударит дождь, да еще с проснегом, облепит последний пароход, уходящий от нас. Снегу не залепить уютно светящиеся окна рубок. Манит с собой уходящая машина, манит в края больших размахов и большой жизни…

Бр-р, промозглый холод!

Слякоть и тьма бесфонарная на улицах… Куда бы в тепло, к милым людям, чтоб отогреть застывающее от одиночества сердце.

Захаровы были испокон века перевозчиками.

— Ну, уж Захаровы — те пловцы, — эта хлыновская похвала была родом Захаровых заслужена. Про одного из дедов их рассказывалось, что он, отправив дощаник с горного берега, сам переплывал на луговой, где в ожидании прибытия опереженного им дощаника готовил новую нагрузку возов и лошадей и после

этого плыл тем же способом обратно.

После появления пыхтелки «Колумба» Захаровы сдались машине, а за собой оставили лишь перевоз на остров. Паром работал круглое лето, но в период косьбы и уборки сена работа была страдная. Без отдыха туда и обратно гоняли груженый дощаник. Работа переправы производилась силами перевозимых. Хозяин, в сущности, мог и не ехать, разве только для причала да самой разгрузки, при которых требовались ответственность и знание дела. Да и то среди поимщиков всегда попадались знатоки и для этого. Что касается платы за перевоз, так у причального столба висело ведерко, в которое каждый и бросал нужный медяк.

Этим доверием и хранили хлыновцы свою честь. Вообще, чтоб не забыть, подчеркну следующее: ласка и доверие делали чудеса с хлыновцами, которые, к тому же, ничуть не отличались от жителей прочих городов в смысле обжуливания друг друга. У нас часто высказывалось мнение, что «как только появились заемная бумага, ярлыки да нотариусы — так и воровство от жуликов к честным людям перебросилось… Нечего стало честью гордиться, раз бумага тебя в жулики приноровила, лишила доверия»…

Илья Федосеич Захаров, спасший меня, в описываемое время был заправилой перевозного дела. Дядья, отец садами, посевами заняты, а он взял на себя переправу; у него был помощничек Панюша, тихий парень.

Звание первого пловца в семье Захаровых было теперь за Ильей. На спор — на лошадь спорили — четыре раза переплыл он Волгу, а на воде держался что твой лебедь.

Не помню точно, случилось ли это в год, когда я тонул, или годом позже, но это событие, стоившее жизни Илье Захарову и другим, взволновало надолго город.

Было начало косьбы. Время было сухое, трава быстро зрела, особенно островная, при воде. Народ бросился на поймище.

Дощаник был в полной годности, и переправа заработала без отдышки. В день, о котором идет речь, в воздухе не шелохнуло, пластом кристальным лежала Волга. Ни одного облачка не было на небе. Жара была непереносная даже у воды. Купанье не спасало — еще хуже распаривало уморившееся тело.

Около двух часов после обеда за староверческим кладбищем показалось облако, острием высунулось оно над Громовой горою и стало расти и темнеть. Я в это время торопил Васену. Дядя Ваня с утра, до выпечки хлеба, уехал на остров, и мне предстояло везти косцам хлеб. Ехал я на остров с ночевкой — под пологом, при дымке костра — и заранее радовался.

Нагрузившись мешком за плечами, пошел я на пристань. Буря уже началась. Ветер рвал мой мешок. Когда я был над береговым

обрывом, потемневший пейзаж осветился молнией, и раскатился гром… Дощаник я увидел на середине Воложки, он переправлялся на остров. Его крутило бурей и захлестывало волнами.

Ветер сошел с ума — он потерял направление, ударяя то в лоб, то в спину. Он срывал верхушки волн, и брызги носились над Волгой. Город сзади меня был завешен пылью, пыль столбами мчалась, крутилась ураганом. На Коренной туча или пыль завернулась смерчевой воронкой, змеей вытянулась в небо и, скользя на хвосте, понеслась в степь.

Теперь главное внимание всех нас, на берегу, было поглощено дощаником. Видно было — он выбивался из сил, его кренило, он зарывался то одним, то другим бортом в воду. Ему было трудно, но еще взмахивали весла; на корме у руля белела рубаха Ильи Захарова.

Вот новый шквал, и берег ахнул… с парома сорвалась лошадь, а с ней не то люди, не то вещи. Судно, очевидно, черпнуло воды — оно накренилось очень отлого. Оттуда донесся взрыв воплей, криков. Видна была толкотня лезущих друг на друга людей и животных. Дощаник, видимо, тяжелел, погружался, на нем заработали баграми. До островного берега оставалось десятка полтора-два саженей.

Илья Федосеич что-то кричал, жестикулировал взбаламученному народу, затем мы увидели — Илья бросился в воду. Это было предлогом для последней паники ничего уже не соображающих от страха смерти людей. Следом за прыжком Ильи они заметались на дощанике и начали бросаться за Ильей. Рев, доносившийся с дощаника, был жуткий, нечеловеческий…

Илья Захаров утонул, что называется, на сухом берегу.

Предпринятое им спасение людей было верным. Он захватил с собой причальную веревку, рассчитывая в два броска достичь мели и оттуда притянуть дощаник к берегу, и он звал с собой еще нескольких мужиков, умеющих хорошо плавать. Но обезумевшая часть людей ничего не услышала и не поняла: за Ильей стали бросаться или неумеющие, или плохо плавающие. Веревка, соединяющая Захарова с паромом, дала этим несчастным возможность настигнуть пловца, вцепиться в него и всем вместе опуститься на дно.

Илью Федосеича вытащили из воды часов пять спустя; вцепившимися в него так и остались одна женщина и старик — так втроем и нашли их, остальных отмыло, которые утонули с веревкой.

Всего погибло семнадцать человек из сорока восьми. Спаслись все оставшиеся на пароме. Из малышей никто не погиб,

случилось так, что судно, давшее трещину в днище, затонуло одним бортом, а другим село на мель, недавно образовавшуюся в этом месте. Люди сгрудились теснее друг к другу. Начавшийся после этого ливень успокоил ветер, и пострадавшие дождались спасательных лодок и «Колумба», прибывших на выручку.

Был ясный послегрозовой вечер, когда доставлялись на берег жертвы бури. На берег сбежался народ. Плач родных, отцов, матерей и детей стоял до поздней ночи. Количество погибших выяснилось лишь в последующие дни, когда огласились все работающие на острове.

Илью привезли ночью и положили на рогожу. Освещенный пароходским фонарем, он казался чуть не живым, мощным и крепким. На лице была легкая улыбка, едва показывающая белизну зубов…

Наверно, у меня была такая же улыбка, когда он смотрел на меня, неподвижного, распластанного на дне легошки, перед моим пробуждением.

Много наделала неприятностей человеку Волга за эту бурю. Много посрывала с якорей судов, перевернула много лодок. Засадила в песок пароходы. И народа много погибло в полосе прошедшего циклона.

Илью похоронили на староверческом кладбище, у Громовой горы.

На железном листе изобразил я качающуюся на волнах лодку и каракули тонущих людей и небо, пересекшееся зигзагами молнии. Сверху листа написал: «Погибший за других», а внизу: «Вечная тебе память».

Это была моя третья работа красками, которую я потихоньку ото всех прибил к кресту Ильи Захарова.

Глава двадцатая
ХОЛЕРНЫЙ ГОД

Рано начался черед событиям. В средине поста в слободке у одной женщины родился урод-младенец: без ног, вместо рук — маленькие крылышки, и только головка как есть человеческая. Много перебывало любопытных в слободке, и на уродышка медяков надавали немало… Успокаивались уже и тем, что на младенце ни когтей, ни шерсти, словом, никаких животных отличий не было.

В воскресенье на Красную Горку пришел народ, кто из церкви, кто с работенки праздничной по дому, — в ожидании еды, пришли в избы, за столы, кто к самовару, кто к лепешкам со сметаной, как вдруг, почти одновременно в обоих пожарных забили в набат. Через минуту какую-нибудь и в церквах ударили в средние колокола.

Вспыхнуло странно, в нескольких местах одного и того же квартала на Базарной площади: в задах у городского головы и у железника Титишникова. По задворкам огонь пошел быстро: амбары, сараи, сеновалы — хороший горючий материал. Ветер был с гор. Огонь перебросило на дома и магазины.

Как бы ни был страшен пожар по его последствиям, но для захолустного городка, конечно, для непострадавших его граждан, это всегда событие, взбудораживающее и героизм и некоторую праздничную необычность. Хлыновцы во время пожара становились неузнаваемы, проявляли чудеса отважности, бросаясь прямо в пламя для спасения не только жизни, но и добра погорающих.

К часу дня пожар разросся невероятно, занял огнем не менее трети квартала. Работали обе части и все бочки города. Бассейны были опустошены, воду приходилось брать из Волги. Тушение становилось невозможным, пожарные работали над отстоянием соседних мест: растягивали полога на крыши и стены и лили на них воду, либо ломали и растаскивали деревянные строения, находящиеся на пути огня, чтобы лишить его пищи.

На улицах с четырех сторон квартала из домов вынесено имущество жителей. В корыта и корзины уложены грудные; ползуны и ходуны кувыркаются здесь же на рухляди. Старухи и деды возле такой кучи стоят с иконами Неопалимой Купины в руках, повернувшись образом к пожару; беззвучно, одними губами, творят молитвы. Обреченность в их лицах, изможденных морщинами годов и событий.

Ревут детишки; трещит огонь; грохочут по булыжнику бочки. Пахнет мокрой гарью. Город занят пожаром.

Чтобы стать точным рассказчиком о происходящей катастрофе, я обхожу пожарище. Через плетни, через поваленные заборы лезу я пустырями и задворками. Завернув за угол какого-то сарая, я почти наткнулся на мужика, присевшего на корточках у стены, спиной ко мне. Перед ним была сгружена солома и сушняк, а из кучи сложенного шел дым. Мне сразу блеснула мысль о поджигателях, о которых говорили в народе, учитывая разноместное начало пожара.

— Что ты делаешь? — закричал я.

Мужик быстро вскочил и уставился на меня. Я увидел его лицо. Оно было искажено от страха, что его поймали, но и кроме этого оно было уродливо: это была безносая маска, окаймленная щипаной бороденкой, и с этой гладкой маски, как наклеенные, смотрели на меня коричнево-грязные точки. Мужик быстро озирнулся в стороны, собираясь, видимо, бежать, но изменил намерение, заметался, схватил от сарая кол и бросился на меня с хрипом вместо голоса:

— Убью же, так твою растуды…

Я закричал, отскочил в сторону от его удара, и на этот ли крик, или еще на мой первый, через плетень показались парни. Картина для них была, очевидно, ясная.

— Стой, сволочь! — крикнул один из них, мигом очутился возле оборванца и выхватил у него кол. Безносый заревел противно, хрипло, выговаривая в свою защиту, что-де у него схватило живот, он присел, а этот выкидыш (то есть я) камнями стал швыряться…

Парни окружили его. Один из них разгреб солому от стены и затоптал огонь.

— Вот подлец так подлец. Ты что же, по найму али от себя работаешь, уродина поганая? Чей? Откуда?… — спросил второй парень, давая тумака по затылку поджигателю.

— Прикончим на месте блудену, — предложил третий, сутулый, невеселый погорелец.

— Нет, уж лучше в огонь его, туды его так, — сказал ударивший по затылку.

Разбросавший и погасивший костерок присоединился к парням.

— К Верейскому отведем, братены, пусть по закону его разделают — за такие штуки не помилуют.

Мужик упал парням в ноги.

— Робятеночки… Золотые, да ведь я разнесчастный… Света не взвидеть, робятеночки…

Верейский пристав был у самого пекла. Поджигателя едва удалось привести живым, так разъярен был народ против него.

Пристав тут же учинил допрос. Мужик оказался из деревни Шиловки, безлошадный. Деревню решил бросить и промышлял кой-чем. Под охраной полиции его отправили прямо в острог до суда.

Вечером отец говорил матери:

— Помнишь мужика безносого в Шиловке, конокрада, Васькой, что ль, его звали, — сегодня его за поджогом сцапали.

Тут и я поспешил в деталях рассказать мою историю с Васькой Носовым.

С пожаром возились четыре дня. Многих разорил он и оставил без крова и без имущества.

Сначала об эпидемии были слухи: где-то в астраханских степях болезнь — холера ходит, мучит людей животами. Потом появилась в Астрахани, а отсюда большой волжской дорогой быстро начала двигаться к нам.

Благодаря великолепной воде азиатская гостья не скоро могла начать у нас свою работу. Больные появились с пароходов.

Паника стала возникать незаметно. Рассказы о болезни становились чудовищными по количеству смертей и по быстроте, с которой она расправлялась с человеком. Учащались траурные сигналы пароходов, возвещающие о больных и мертвых, имеющихся на них. Появились в белых балахонах санитары. У ярмарки выстроили бараки. Афиши разъяснительного и предупредительного характера пестрели на заборах и фонарных столбах, а редкое появление в городе афиши всякой бумажонке, повешенной на вид, придавало особое значение.

Семка-пьяница стал возницей и больных и покойников, панике он не поддается, всегда выпивши и навеселе. Он рассказывает встречным свой секрет: «Водка животу крепость дает, разогревание в кишках делает: при водке холера не может взять». И вот схватила «она» все-таки однажды Семку, скрючила, захолодила и выпустила из него дух.

Смерть Семена-пьяницы была сигналом к дальнейшим жертвам. Выпивавшие растерялись: «Вот тебе и водка, не знай пить, не знай нет».

До ягод смертности большой не было. В бараки попадали больше привозные да деревенские. Наши бараков очень боялись, много о них от приезжих понаслышались: в барак попасть — это в гроб лечь — там извод человеку делают… Некоторые говорят, будто докторов подкупили народ травить… Так говорят, может, и врут… Врать тут нечего, вот в Саратове, — мужик сказывал верный, — гроба из барака вывезли, а мертвые крышки

поснимали, да в саванах, и ну стрекача по городу делать, а сами орут, что живых схоронить их хотели…

А гроба, и верно, насквозь белым ядом были засыпаны…

— Да, православные, видать — простой народ кому-то поперек горла встал…

— Бабыньки, намедни у бассейна Митрий нанюхался порошку белого и света не взвидел, брюхо запороло, поносом так и изошел Митрий.

У хлыновцев мысли всегда приспособлены к порядку жизни: посев, разлив, урожай, жнитво, а тут все кверху ногами перевернулось, как будто спьяна все дела делаются, а в голове: «холера, бараки», а в животе словно кишки от верха отстали — на низ давят; урч идет из живота. Муть пошла городом. Народ стал хмурый.

Вдруг трах — весточка: в Астрахани бунт прошел. Докторов убили и бараки разнесли.

Пришипились в Хлыновске. Молчок пошел — хуже всякой сплетни.

Помню эти черные дни.

С раннего утра похоронный перезвон. Отпевают на площади при закрытом гробе, прямо на дрогах. Священники держатся издали, читают вперегонки, — иначе не успеть, столько тянется гробов друг за другом. На холерном поле их кладут рядышком, тесно, тесно, как солдат в строю.

С утра позывы к тошноте. Режет в желудке. Слабит. Общее изнеможение… Ягод не утерпишь не съесть. К тому же они, как запретный плод, уродились крупные, ароматные, что малина, что смородина. Торговать ягодами было запрещено.

Жара и духота были особенными в эти дни: изнуряющие испариной и делающие звон в ушах. Купанье было запрещено, на видных местах за этим следила полиция, тогда купальщики забирались в затоны, в заводи с кишащей водяной вошью, тело к телу заполняя воду, барахтались изнывающие люди в этой заразе.

Синодик разрастался именами знакомых, родных и товарищей. Холера, как образ беспощадия, к старику и грудному, костлявой бабой ходила из дома в дом. Заболевающие видели эту ужасную женщину с дырами вместо глаз.

Появились с забитыми дверями и ставнями домики, сначала по одному, а потом и партиями, обозначая вымерших хозяев… Плач в те дни был тихий, без причитаний.

В деревнях холера работала не менее усердно: никакие опашки на голых бабах не спасали от болезни. Деревня Покурлей татарская начисто вымерла, и с муллой вместе. Словно сила какая из человека ушла, и никакой защиты не осталось.

Умирали в садах, на улице, в церкви. Умирали быстро: рези, судороги, похолодание и смерть. Из желтого в синий цвет перегоняла холера человека. Ни песен, ни смеха, даже младенческий плач не был слышен; тихий говор, шепоток, а в нем намеки, словно бредовые, не мои — чужие чьи-то. Обмолвится ими ребенок по глупости, так взрослый молча хлопнет ребенка по затылку… Назревало что-то неизбежное, чтобы вывести из этого столбняка, но никто не знал, от кого, когда произойдет оно и чем оно будет…

Александр Матвеевич, наш городской врач, был председателем уездной санитарной комиссии и заведующим бараками. На городской лошаденке метался он из управы в бараки, из бараков в приемный покой, оттуда очередями рвали Александра Матвеевича по домам. Ругался, кричал тенорком на исправника, на городского голову за неимение кипятильников, за скверную дезинфекцию, за полное отсутствие разъяснительных бесед с населением, наконец — за неумелых, за пьяниц санитаров, мутящих город сплетнями…

Виден и приметен белый пиджак Александра Матвеевича, и очки, и бородка, вьющаяся на крупном бескровном лице, когда он мечется городом. Он главнокомандующий, он-то уже наверно не боится холеры… Да…

— Борис Иванович, — останавливает он пристава, — на что же это похоже — не город, а гроб. Хорошее самочувствие — ведь это главная защита от этой болезни. Развлечение нужно, развлечение. Запретите хоть, батюшка, звон похоронный…

И белый пиджак мчится дальше.

Верейский был тертый народом человек, он знал положение в городе: город искал развлечения. И от этого развлечения пристав уже придумывал на всякий случай план самозащиты.

На дворне у нас говорили по-разному, но в молчании некоторых чувствовалось согласие с улицей. «Травят не травят», подобно гаданью «любит не любит», прошло через каждого из нас.

Свой городок в любых его настроениях всегда чувствуешь, какой он. Веселый ли, праздничный, деловой ли по-муравьиному, лениво-усталый или больной. Вот теперь потеряны сцепления между горожанами. Замерли общественные отправления. Торговля остановилась, одна хлебная да лабазная работает, но и то с полузакрытыми дверями и со спущенными ставнями открыты на часок-другой.

Бесцельно ходят пустым базаром люди, собираются в беспокойные кучки, не о ценах и не о погоде разговор ведут… У домов на завалинках так же растерянно тычутся друг к другу горожане… Иная речь, чуть погромче, выскочит к уху прохожего:

«Звон-то и то запретили, окаянные… Скоро будто и церкви закроют… Антихристы и есть».

К Петру и Павлу напряжение, выжидательность в городе стали невыносимыми, как в парной с угаром бане. Не хватало нелепой, какой угодно маленькой, причины, чтобы произошел разряд. Причина нашлась, и причина не маленькая для тогдашнего момента.

После обеда, в неурочное время, прибежал из поля в город пастух базарной части и прямо на Нижний базар. Его обступили, и он исступленным голосом сообщил, что у него в стаде подохло семь коров, сейчас же после того как напились из колоды… А кругом родника и колоды насыпан белый яд.

— Вот он, православные, — и пастух развернул грязную тряпицу с известью. — Не отвечаю, не отвечаю, братцы, за коров я. Истинный Бог. И подпасок скажет.

— Скот травить начали?! — злобно заключила толпа. Это выступление пастуха и явилось спичкой, поджегшей последующие события.

— Травят коров, — понеслось городом. Бабы завыли о коровушках. Количество погибших коров, передаваемое окраинам, возросло до сорока. Да количество здесь и не играло роли. Раздражение стало общим, уличным.

С Горки, с Маяка, с Бодровки бежали мужики к центру, кто с кольями, кто с топорами. Беспоясые, босиком метались они от места к месту, ища применение буйной силы и первопричину зла — доктора…

Старушонка Петровна омолодилась вся, с клюкой в руках она собрала вокруг себя толпу, уверяя, что доктор здесь, в этом доме, у следователя. Несколько мужиков постучали в парадную дверь. Вышел сам следователь и объяснил мужикам, что Александр Матвеевич у него был, но давно ушел, что-де если не верят, — пусть осмотрят дом.

Толпа стала расходиться. Кричали старухе: «Глаза прочисти. Ты, чать, и доктора никогда не видела». Старушонка заклялась, обозлилась и, как ведьма на помеле, повисла на решетке единоверческой церкви, против которой находилась квартира следователя.

Доктора действительно не было уже в этом доме. Следователь снабдил Александра Матвеевича револьвером. Советовал ему скрыться где-нибудь на задворках и переждать, когда немного уляжется возбуждение толпы. Доктор не вслушивался в советы, был очень рассеян, говорил:

— Ведь я же всю жизнь работаю на них… Прямо из университета с ними, в этой дыре… Восемнадцать лет…

Спрятаться он не может — жена его одна, а они, наверно, пойдут на квартиру… Причинят ей нехорошее или напугают…

Следователь, видя в окно происходящее на улице, видя, что присутствие доктора в его доме известно, торопил Александра Матвеевича не подвергать и себя и семью следователя опасности, уверяя в возможности скрыться на задворках…

Конечно, это было бы самым верным, переждать сумерек где-нибудь в соседнем сарайчике, за дровами где-нибудь и потом скрыться дальше, но… Нельзя же всерьез поверить, что вот эти хлыновцы, из которых каждого знаешь в лицо, в любое время к которым являлся, помогал, спасал, когда это было в силах медицины, — что эти люди решатся его убить. Старуху Петровну, например, которая ему грозила клюкой, когда он шел к следователю, ведь ее он спас от костоеда, хотя и с хроминой, но поставил на ноги.

Доктор даже не переоделся у следователя, в своем белом чесучовом пиджаке показался он из задней калитки, от колодца в углу площади. Подобные калитки соединяли у нас иногда нескольких соседей для пользования колодцем.

Петровна отлепилась от церковной решетки и закаркала хриплым старческим звуком:

— Вот он, вот он! Антихрист, травитель, — лови, лови его… Несколько мальчишек весело загайкали следом за ней.

Александр Матвеевич пошел наискось площади средним шагом, бледный и сосредоточенный. Проходя мимо клокочущей слюной старухи, доктор повернулся к ней и со всегдашней мягкостью, как старой знакомой, сказал:

— Ну, а как твоя нога, Петровна?

Старуха закашлялась, затрясла клюкой… и, когда белая фигура была уже вдали, она снова заскрипела проклятия и, тыча палкой, вопила:

— Вот, вот он! Лови, лови…

К бульвару, у богадельни, туда же, куда направлялся доктор, от мясных лавок, от Репьевки, бежали с засученными рукавами в одних подштанниках отдельные хлыновцы. Среди них в исподних юбках, хлопая под рубахами грудями о тело, бежали бабы, а впереди этих групп звонкая орда ребятишек давала главный и основной звук начавшемуся бунту… Этот звук «а-ы, а-ы» не прекратится в продолжение следующих дней и ночей — он будет маршем бунта…

Александр Матвеевич пересек площадь церкви и почти одновременно с бегущей вразброд толпой очутился на перекрестке. Толпа как-то ширкнула о него и откатилась. Здесь я заметил высокого в серой рясе священника. Доктор бросился к

нему с криком: «Батюшка, спасите», — и припал к нему головой на грудь…

В это время в толпу врезался в красной рубахе мужик и с криком: «Не мешай, поп» — обхватил и дернул на себя, в толпу, доктора. На этом и кончились мои связные впечатления. Следующий момент — это мелькание белого пиджака в озверевшей толпе; взлетевший высоко кверху белый картуз Александра Матвеевича и крик, нечеловеческий, звонкий до неба, страдания и жалобы:

— Бра-тцы…

В ужасе бросился я прочь… Предо мной бледное лицо с очками. Александр Матвеевич с кистью йода: «Открывай рот, чем шире, тем лучше. Так, готово…»

Чувство стыда, гадкости к себе, что я не сумел спасти человека. Как бы я смог это сделать — это неважно, — но я не боролся, я не восстал на защиту. Впервые предательство и подлость показали мне свои физиономии…

С перекрестка раздался выстрел. Это во время швыряния доктора по мостовой из его кармана выпал револьвер, подарок следователя.

— Ага, вот что он нам готовил, — стреляя в воздух, кричал один из толпы.

Первая расправа захватила круговой порукой участников. Когда на мостовой, измазанный в пыли и крови, улегся труп доктора, в толпе появились раздумье и недоумение. Крайние начали расходиться, и только крики главарей, объявивших погром, дали толпе направление к продолжению развлечения. От доктора двинулись к домам управских деятелей.

Разреженный от толпы перекресток и приток свежего воздуха очнул еще недобитого Александра Матвеевича. Он зашевелился. Едва слышно застонал, зацарапал пальцами в пыли, как бы желая приподняться… В это время рядом с ним очутилась старуха с клюкой, и она закричала вслед уходящим о несчастном, с еще теплящейся жизнью. Банда вернулась. Мужик с револьвером нагнулся к доктору и в упор выстрелил ему в висок.

— Последняя пуля, так разэтак, — крикнул мужик, потом как-то особенно гмыкнул и рукояткой револьвера сунул в спину старушонки с клюкой, торчавшей около. — Петровна кувырнулась к ногам доктора, мужик выговорил:

— Эх, и тебя бы, карга…

Один из толпы, видать большой шутник, поднял валявшуюся в пыли бутылочку с йодом, тоже, верно, выпавшую из кармана убитого, и, поливая из нее лицо жертвы, сказал:

— Михаило окровянил, а я лекарством смазал.

— Айда, ребята, потроха крошить… — отчаянно крикнул Михайло, швыряя за богаделенскую крышу револьвер.

Управские деятели, то есть, за малым исключением, плоть от плоти хлыновской, те же мужики, что и громящие, они расползлись и скрылись, как мыши от кошек…

Конспирация была самая примитивная: голова только ча-пан одел и уехал к себе на хутор во время расправы над доктором; которого увезли на дне плетюхи под сеном; который испачкался сажей, нагрузил плетюху навозом и повез его за город. Один, застрявший у себя в доме, простоял между дверью и притолокой все время, покуда вскрывали его перины, били посуду и громили дом. А, например, Аввакумов, правда, бывший член управы, мужик на пятнадцать пудов весом, тот никак не пожелал себя скрыть, а, наоборот, уселся у ворот дома, издевался над проходящими громилами, называя каждого по имени, он приглашал их погромить у него.

Врагов, конечно, можно было найти достаточно, чтобы испачкать не один перекресток, но чувствовалось по всему, что хлыновцы не хотели больше крови, им нужен был шум битых стекол, скандал и опьянение. Кризис запуганности холерой был изжит…

Другая половина властей хлыновских поступила более организованно — по инициативе Верейского.

Весь полицейский состав, от исправника до десятника, в полном порядке и без потерь, отступил в «замок» (так у нас назывался острог), где и укрепился, решившись дорого продать свою жизнь. Под защиту этих доблестных городских воинов собрался весь служилый и чиновный состав и их семьи. Арестантов было мало, их убрали в заднюю камеру, а цвет нашего городка занял и острожный двор, и все переднее его помещение.

С трогательной деликатностью, без единой попытки противления злу, отошли от беспорядка блюдущие порядок…

Хлам хлыновского официального уклада расползся по швам.

Не много бы хватило пороху у моих сограждан на дальнейшее завоевание собственного городишки, если бы не последовало подкрепление их сил новой организаторской единицей.

В полицейском участке, в каземате, за решеткой, выходящей на улицу, орал человек. Этот забытый бежавшей полицией арестант, приготовленный для отправки в губернскую тюрьму, — бросался из дыры в дыру решетки; тряс, раскачивал ее руками, пытаясь сломать. Мальчишки — смелый и не брезгливый народ, но и те шарахнулись в сторону, когда увидели уродливое, безносое лицо арестанта. И только проходизшие мимо мужики

освободили Ваську Носова из неволи. Он изложил освободившим его свою горькую судьбу: бежал он из барака, уже в гроб его там клали; а полиция схватила Ваську, чтобы не разболтал он об этом по городу, — бунта бы не устроил… Мужики поверили.

Душой и телом влился безносый Носов в поток хлыновского несчастья.

Ночью к трупу мужа приходила Екатерина Романовна. Плакала, целовала. Был момент, когда она зарыдала громко, чтобы как-нибудь тоску разрядить… Она и он, лежащий сейчас, самые одинокие, но ей же еще труднее.

— Саша, Саша… На какой ужас покинул ты меня, Саша. Родной, милый, бедный мученик…

А как эхо несся над городом вой: «а-ы, а-ы», тоже мучающихся от темноты, от незнания, куда волю деть, хлыновцев…

У Красотихи штаб и пьянство. К утру разбили винный склад. Всю ночь треск и звон стоял, перекатываясь от одного громленого дома к другому…

Наутро пух и перья летели над городом от вспоротых перин и подушек. Московская улица была залита чернилами типографии, принадлежавшей секретарю управы. Сломленные вином и подвигами лежали у кабаков хлыновцы вперемежку с бабами. Бодрствовали ребятишки, они рылись в битой посуде, выбирая черепки с картинками, набивая карманы скобами и ручками от дверей, шпингалетами от окон и прочей дрянью, из которой самым ценным товаром были свинцовые типографские буквы, которые долго потом будут ходить как меновой товар на козны, волчки и стрелы. Да еще иногда сунется, невзначай как будто, в громленый дом востроносая бабенка, и потом выйдет оттуда как ни в чем не бывало, будто «до ветра» сходила, только глазами озирается, да кажется постороннему, будто немного потолстела бабенка за пазухой. Да идут в одиночку люди с разных мест к острогу — это домочадцы несут атакованным еду в кастрюлечках, в тарелочках. Оторвутся от карт осажденные и покушают, чтобы запастись силами к самозащите… Неловко как-то осажденным оттого, что погромщики на них никакого внимания не обращают. Народу никого у острога — пройдут мимо старичок да пара старушек ко храму святому помолиться, поклонятся власти всей, аще от Бога есть, и опять тишь да гладь. Верейский даже перед острогом по воле гуляет, как во вверенном ему городе.

И только на следующий день, к вечеру, наискось от острога, на углу, несмело и застенчиво появились три молодых мужика и как бы стали семечки грызть, скрывая всякое внимание к осажденным. В остроге это произвело большой переполох: разумеется, это были разведчики… и все боевые силы были

приведены в готовность.

Власти не ошиблись — мужики были действительно подосланы по особому стратегическому соображению Васьки Носова. Несчастный твердо верил в свою несчастную судьбу, и чтобы оградить себя от особых неожиданностей, выставил пикет. Об атаке властей народом ни у кого из мужиков не было и в мыслях, наоборот, они задавали вопросы друг другу: до которых-де пор позволят им власти беспорядок делать… не иначе-де подмогу ждут. Эта была и точка зрения Носова, ставшего как бы вождем движения. Как ни подмывало Ваську неожиданное счастье, поднявшее его хоть и на погромный верх, зазнаться, забыться, — Васька одергивал себя. Правда, были мужики, дававшие потом показания о планах Носова — перебить полицию в замке, но думаю, что это была не более как пьяная брехня с той и с другой стороны. Дело в том, что у Васьки к тому времени был уже готов лично его касающийся план для устройства новой жизни.

В бордовой рубахе, вышитой по вороту шелком, в новых портках, засунутых в смазные сапоги, сидя на крыльце у кабака, решал Носов дела банды: он установил слежку оборонительную как у острога, так и за пристанями, потому что слух, неизвестно откуда и кем пущенный, о прибытии войска ходил по городу. Он наметил дальнейший порядок погрома. Но народу, видимо, надоело бунтовать, не встречая сопротивления, и он ждал полагающегося в таких случаях усмирения, которое сняло бы, наконец, с него ответственность за состояние города, а осажденные власти в это время также мечтали о каком бы то ни было насилии к ним со стороны народа, чтобы оправдать свое поведение.

Хлыновцы, видимо, и по работе соскучились. Вот, например, Гаврилов, сапожник; он не последним состоит в бунте, но его к сапогам тянет. Работа в разгаре приостановлена: сапоги личные, военного образца для самого исправника заказаны, а тут и сам леший ногу переломит — не то заказчика укокошат, не то его, Гаврилова, распластают где-нибудь на мостовой, вроде Александра Матвеевича… А тут безносый еще лишнего, видать, понаделал… Эх, пить, что ль, покудова?

Начальник нашей почтово-телеграфной станции вывесил сейчас же после убийства доктора объявление на дверях конторы: «Закрыто до полной тишины и спокойствия» и в эту же ночь соединился с Самарой и сообщил о происходящем в городе. Только через день был получен ответ: «Меры приняты». Вот эти «меры приняты» и разнеслись по городу…

Следующая ночь была тревожной и похмельной для уставшей

толпы. В середине этой ночи впервые раздались песни: «эх, да, эх», как только хлыновцы умели, — до засоса сердечного. Сейчас же с песнями остановился погром, и мирное население сразу поняло: утишились, мол, непутевые. «Что ни говори, а свои ведь все — сватья, племянники, внуки, а то и родные детушки, надерзили по городу; того наделали, чего отродясь не было; разве там при Разине каком, при царе Горохе, при язычниках… Ну, оно, конечно, как говорится, за правду мужики поднялись: только руки вот больно размахались… Упокой, Господи, убиенного целителя Александру…»

В эту же ночь два мужика и баба пришли на перекресток с палками и рогожей, подняли на них с мостовой «убиенного целителя» и отнесли в приемный покой, где лысый Терентьич плотник к тому времени соорудил уже гроб и краской выкрасил.

На рассвете этой ночи, хотя как и в чаду находились мужики, но им бросилось в глаза отсутствие Носова. Хватились — нет его.

— Где, где Васька? Где безносый черт?

— Убивал кто? — нет, не убивали.

Видели там-то, а после этого и пропал коновод… Гаврилов из-под хмеля вспомнил, что Васька еще вчера что-то ему плел о новой своей жизни, в низах где-то…

Тут подскочил к мужикам шустрый парнишка, лет двенадцати:

— Дяденька, а я его, безносого, у пристаней видел… На лавочке сидел и деньги считал… Тьма деньжищ, дяденьки, и все он их в карманы совал…

Мужики хором даже зубами скрипнули: «Утек, вор, а не утек, так искать надо, живым либо мертвым… Ведь он, сукин сын, поджигалой был… был, а?»

И все сразу вспомнили Ваську по весеннему пожару, хитрили мужики, будто бы раньше не узнавали его…

Бросились на Волгу и нашли Ваську на Самолетской пристани спрятавшимся в трюме. Видно, парохода ожидал, чтобы в низы улепетнуть. Из карманов его вынули рублей двести денег.

Что делать с изменником? Сутулый невеселый мужик сказал:

— Его, так или этак, а надобно изничтожить, — больше ему дозволить баловаться — невозможно…

— Утопить его! Бросай в воду!

— Нет, обожди, тягу ему на шею надобно, — толково разъяснил невеселый.

Сбегали на берег за сверленым камнем, которые у нас употребляются вместо якорей на рыбной ловле. Камень с мочальной веревкой, готовый. Обмотали кругом тела с руками, сделали мертвый узел… Связанный молчал; куда девались его

прежние жалобы в таких случаях. Только когда с камнем все было готово, он проговорил:

— Бесполезно убивать хотите, мужичье…

— Надо, Василь, ты помалкивай, — успокоил невеселый Ваську. Раскачали Василия Носова и швырнули через борт на глубину, на стрежень. На месте падения только булькнуло и тотчас же смолкло…

Из-за острова выкатилось солнце и брызнуло лучами по воде.

— Эх, хорош денек, искупаться, что ль, — сказал Гаврилов, но ему ответить не успели.

На горизонте в проране Волги вывернулся из-за Федоровского Бугра пароход с красной перевивкой на трубе, и на утреннем прозрачном воздухе донеслась до мужиков музыка: звучная, бодрая, с литаврами и с барабаном…

— Войско едет…

Пристани и берег опустели в один миг. Как муравьи в норах, расселись по домишкам хлыновцы; замолк их шорох, и город, так неожиданно взбаламученный холерой и людьми, притих.

Впервые опубликовано: «Моя повесть» 1-я часть, «Хлыновск»; 1930.

notes

Примечания

1

Автора мы тогда не знали, да нас он и не интересовал, как не интересовало нас имя мужика, посеявшего зерна, хлеб от которых мы сейчас едим (*прим. автора*).